

Анатолий Сорокин

*Сладкая
попынь-
отрава*

повесть для внуков

Анатолий Сорокин

**Сладкая полынь-отрава.
Повесть для внуков**

«Издательские решения»

Сорокин А. М.

Сладкая полынь-отрава. Повесть для внуков /
А. М. Сорокин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-832709-4

Ах, птица счастья — тень невесомого прошлого! Вернись, все
прошу, я к тебе без претензий за самые горькие денечки улетевшего
и голодного детства! Не вернешься — былое не возвращается. Да
и нет острой нужды, чтобы оно возвращалось — особенно в прежнем
уродливом виде... Но у многих из нас, завершающих пребывание
на этой неизлечимо больной и грешной земле, другого не будет...
С надеждой, что у Вас будет лучше! Анатолий Сорокин

ISBN 978-5-44-832709-4

© Сорокин А. М.
© Издательские решения

Содержание

1 Образ из вечности	6
2 Митя	11
3 Тетя Луша	14
4 Бабушка Тася	17
5 Дядька Матвей	22
6 Марина	28
7 Кони вороные	31
8 У зева зимней печи	40
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Сладкая полынь-отрава

Повесть для внуков

Анатолий Сорокин

*Ах, птица счастья – тень невесомого
Прошлого!
Вернись, все прощу, я к тебе без
претензий за самые горькие денечки
улетевшего и голодного детства!
Не вернешься – былое не возвращается. Да и нет острой нужды,
чтобы оно
возвращалось – особенно
в прежнем уродливом виде...
Но у многих из нас, завершающих
пребывание на этой неизлечимо больной
и грешной земле, другого не будет. Нам его жаль до щемления
в груди, и мы его помним. Его не стоит ни хаять, ни унижать — наше
величаво гнетущее прошлое, и не стоит стыдиться. Мы сжились с ним
как смогли, сохранив неиспорченными свои
беспокойные детские души, ищущие полета, чего желаю внукам-
правнукам. В отношении нравственности у
нынешний кровавых передельщиков и
новоявленных вершителей русской судьбы
дела плетутся намного отвратнее; мои
человеческие устои и мой разум, оставаясь
в глубокой тревоге, далеко не с ними...
Жизнь дается нам фактом, независимо
от будущих качеств, умения управлять
самими собой, чистоты помыслов, поэтому и жить приличней,
с пониманием своей величественной ничтожности...*

© Анатолий Сорокин, 2016

ISBN 978-5-4483-2709-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1 Образ из вечности

На пожелтевшей фотографии с обломанными уголками отец в красноармейском шлеме и гимнастерке, подпоясанный звездастым солдатским ремнем. Облокотился на легкую деревянную тумбочку: невысокий, коренастый, простое грубоватое лицо, дорожке которого нет и не будут. Нос-шишка кверху, в глазах упрямая самонадеянность, маленькие губы крепко сжаты... Сохранились и другие фотографии, где он с лейтенантом Пилипенко, бывшим кузнецом Скориком, другими сельчанами, но эта ближе всех, мы будто остаемся наедине, грусть моя глубже, из невозможного и невозвратного возникают обрывочные картины, обступающие бегущими тенями, рвут мою душу не истершиеся из памяти голоса... Скорик живет всех, Скорик всегда рядом, а лейтенанта Пилипенко помню плохо. Вернее, мне кажется, что я его все же помню. Хотя и безлико, как нечто недоступное в своей офицерской форме, важное и властное над всеми, даже над силачом Скориком. «Разобьем! Победа будет за нами! К осени ждите!» – и всё. Какой-то не от земли словно. А рядом с кузнецом – вовсе хлипковат, но ему все верят.

Площадь – ступить некуда. Пора сенокосная – подростки примчались прямо на конных грабельках с блестящими спицами. Сенокосилка с задранной вверх косой, набегая в двуконной тяге на площадь, гудит на холостом ходу шестеренками передачи. На бричке с дробинами, высунув босые грязные ноги через боковые решетки, притихли девахи-копнильщицы. За красным столом сам председатель Пимен Авдеевич Углыбов, два бригадира, дед Треух – участник прежней Германской войны, получивший увечье в Гражданскую: «С богом, детушки! Не опозорьтесь тамачки... Оно, с давних времен рогатый стервец роет и роет под нашу границу, вот роги ему и посбивайте».

Представить деда в седле или у пулемета не получается, толкаю под бок Витьку Свищева: «Прям, атаман!»

– У него два Георгия – атаман, тебе!

– Царские награды не в счет, – нахожусь с ответом, испытывая странную неловкость, потому как давно уяснил из отдельных реплик старших, предназначенных не для моих ушей, что и мой дед Василий, вроде бы как сложил безвинную головушку вовсе не за «красную власть». Не знаю почему, но говорить вслух об этом не принято, как и задавать вопросы, расспрашивать, что может закончиться лишь подзатыльником и непонятными упреками мамы...

Многое уж не вспомнить, но чаще всего в моей состарившейся памяти всплывает ссохшееся, морщинистое лицо бабушки – я называл ее мамой Тасей и больше никак. Она была всюду, и долгое время приходила ко мне по ночам после того, как умерла, и мы ее похоронили... Строгая для других, на меня она почти не кричала. Зная, что любит меня едва ли не больше всех на свете, очень боялся ее.

...Над площадью трепещет жаворонок, льет на странно захлававшую землю свои звонкие трели. Бегут по чистому небу редкие белые облака. Плывет дымчатое солнышко. Мужики неровно выстраиваются, неровно бредут колонной за лейтенантом Пилипенко на столбовую дорогу, а отца... нигде нет. Не помню его в той суровой толпе, не вижу...

Наша память избирательна, ей приказать невозможно, что сохранила, то и будет время от времени возвращать яркими картинками, похожими на вспышки ослепляющих молний. Но и этого хватит живому – что-то все, же осталось, сжимает сердчишко,... хотя, естественно, только твое.

Усела пыль, и уж новое лето, и снова уходят на столбовую дорогу в направлении Славгорода, неровные молчаливые шеренги деревенских мужиков и подросших за год парней бить супостата, и... снова отца среди них нет.

Так где же ты у меня, сумевший побороть самого Скорика?

– А война еще не кончилась? – спрашиваю Митю.

Митя молчит, совсем перестал разговаривать, лежит на высокой постели – кожа да кости, – и, кажется, давно не дышит. Я боюсь его такого и снова поспешно спрашиваю:

– Мить, а когда она кончится, скоро?

В комнатке две кровати. Одна – Митина, на другой спим я и мама, Савка спит на печи. Мама – доярка на ферме, где отец до войны был скотником и бригадиром, поднимается до света, я почти никогда не слышу. Зато сплю потом как король. Осилив подоконник, незаметно переползая с половицы на половицу, на кровать привычно взбирается яркое солнышко. Дождавшись его в немыслимом напряжении, заранее зная, что будет, испытал желанное ослепление, взрывающееся в глазах, полежав мирно и тихо, снова начинаю приставать к Мите.

– Счастливый ты, Пашка, – говорит иногда Митя писклявым голосом, похожим на стариковский, – тебе долго жить... Папку дождешься с войны...

Становится скучно.

– Па-а-аш-ка-а! Па-а-ашш! – базонит во всю моченьку за окном Витька. – Айда на ферму, мамка сливок обещалась дать нам по кружке, наказывала прибежать. Айда скорее, засоня, пока фляги не оттартали на маслобойку.

Мама рассказывала, раньше фляги отвозил сам отец, хоть был бригадиром, заезжая по пути на маслозавод в контору с отчетом. Теперь возит Витькин отец-фуражир, а Витькина мать – сепараторщица, за время дойки с двумя подсобницами-девчатами молоко перегоняет на сепараторе в сливки. Этого я тоже не помню, но Митя часто вспоминает, не скрывая зависти, что отец нередко брал меня в те поездки, чего я, конечно, не помню, и говорит с придыхом:

– Возвращаетесь – токо пустые фляги брякают одна о другую... Далеко-оо слышно.

Грустно ему, тяжело в ожидании своего неизбежно близкого часа, а кто способен понять! Теперь, на склоне своих лет, я догадываюсь, о чем он думал, скрывая грусть и тоску, а тогда... Выскакиваю из-под одеяла, несусь к дружку-Витьке сломя голову и не слышу, о чем просит Митя. Ну его!

– В ходке, может, покатаемся, правда, Вить?

Только нам известным путем и сломя голову: через один коровий загон, мимо другого, вдоль камышевой стены телятника – на конюшню! Бригадирского ходка, с облучком для возницы и полусогнутым защитным листом из фанеры, много раз перекрашенным, нигде нет. Не видно и конюхов, всегда встречающих нас грубоватыми насмешками, называя Чапаями. Хромоногий шкандыбает с уздечкой через плечо скотник Лунякин.

– Какой вам ходок, басурмане неумытые! Ить вспомнили чё, оглоеды! А ну марш отсель, опеть – сбрую уже всю изрезали на ремешки. Вот вам сейчас!

Витька на целый год старше, держится смелей, спрашивает строго, под стать отцу:

– Уехал, что ли, батяня?

– Про нево не знаю, а ходок на ремонт уперли. В кузню. Еще одна шина вчерась слетела.

Не сговариваясь, несемся на другой конец деревни, в кузню. С тех пор, как Митрофана Скорика забрали на войну, кособоко щелистая прокопченная дверь на провололочной закрутке. Ходок без колес и оглобель в зарослях конопли. Блестит под солнцем отполированным сидением облучка с зияющей трещиной.

Витька забрался в коробушку, плетенную из лозы, размахивая руками, заорал во все горло:

– Вперед! Бей гадов! Смерть фашистским оккупантам!

Падаю на дно коробушки, припадаю в кузовке к воображаемому пулемету, строчу, строчу, до хрипоты и онемения, представляя, что этим сейчас занят и мой папаня.

...Потом был еще один день. Осенний. Презирая колючки, наша босоногая орава носилась по желто-багряному лесу, выискивая кусты кисло-сладкого шиповника – последнюю радость отзвеневшего лета. С подводы на столбовой дороге, рядом с околком, на опушке которого мы и нашли спелый нетронутый куст, соскочил молоденький запыленный офицерик в новеньких скрипучих ремнях, с полевой командирской сумкой на боку, спросил, как пройти в контору. Показываем, объясняем, перебивая друг дружку, и он уходит широким шагом, размахивая длинными руками. Интерес к шиповнику пропадает, не сговариваясь, плетемся следом – не каждый день на ферму приезжают военные. Впрочем, и с какими вестями они появляются, секрета для нас не составляет – тут уж не до самого сладкого шиповника.

В конторе лейтенант задержался недолго, все такой же серый, с утомленным плоским лицом, появился на крыльце в сопровождении счетовода Гули Щеблыкиной.

– За водокачкой и ферма, – показал Гуля и вдруг разом обмякла. – Да ладно, я провожу, какая уж тут работа.

– Че гадать: похоронку снова привез. Опять кого-то убили, – вселяя тревогу в самое сердце, шептал настырно Витька. – Мамка говорила: на третьей ферме вчера еще объявили. Семерых мужиков как не бывало.

Гуля, шагающая впереди вместе с офицером, обернулась, зло выпалив:

– И не убили, совсем никого не убили на этот раз, а пропали без вести. Правда же, товарищ военный, и наовсе никого еще не убили, когда пропали без вести?

Лейтенант дернулся плечом, прибавил шаг. Но мы не дали ему оторваться, и мы прибавили оборотов, взбучивая густую дорожную пыль босыми ногами в цыпках и трещинах.

– А кого? А кто?

– Узнаете скоро – так вам докладывать прям на проселке, – сердилась Гуля.

В загоне опередив лейтенанта, Гуля уж шепталась с доярками.

Из коровника, с корзиной в руках, которой она раздавала корм, появилась мама. На неё надвинулись все сразу, всей бабьей сплоченной гурьбой, и говорили, говорили, что взбредет в голову; по крайней мере, я ничего не понимал и сочувствовал маме, что и ей ничего не понятно. А что тут поймешь в такой трескотне? Но мама вдруг выпустила корзину, упавшую ей на ноги в сыромятных раскисших обутках из телячьей кожи, и по колено в коровьем говне, прижала к груди такие же грязные руки, высовывающиеся из самовязанной кофты с замусоленными рукавами.

– Ваня? Да нет, завывдумывали! – И стала вдруг опускаться на землю, заорав благим матом: – Неправда! Неправда! Ван-ня! Ва-неч-каа!

Я испугался за нее... За нее в начале. Потому что она – доярка всего, доярка и скотница, а отец... В солдатской форме да с пулеметом в руках – возьми-ка попробуй, фашист несчастный! А на офицера я рассердился, как никогда и ни на кого не сердился еще ни разу – разносит всякую небыль. Но мама присела на землю, повалилась, ткнувшись в нее лбом, заголосила, как плачут у нас только по покойнику.

– Мама! Мамочка!..

Это я помню и с этим уйду на тот свет, сострадав родившей меня всем своим сердцем. Бабы толкались, мешали друг дружке, пытаюсь поднять, меня к ней не подпускали. Было не протолкнуться, кажется, могли раздавить своими горячо нервными, напряженно дышащими телами, но я протолкался, упал перед ней на колени и заорал едва ли не громче:

– Не верь никому, мамочка! Вон и Гуля сказала, что без вести пропал – еще не убитый! Не верь, мамочка! И Митя ждет, когда наш папка вернется с войны, не верь никому, мамочка!

Лейтенант оказался крикливым и нервным, часто взмахивал маленькими кулачками, что-то громко провозглашал. Все больше сыпалось сверху холодного черного света. А солнышко билось где-то близко и не могло пробиться сквозь тучки, обогреть плачущую в голос толпу доярок.

– Господи-Боженька! Два года ни строчки и – дождалась наказания! Не дай и не приведи испытать. О-хо-хо, охтимнеченьки, – вздыхали вокруг сквозь щедрые бабьи слезы. – Это сколь еще будет – таких извещений!

Мама услышала мой рев, схватила за встрепанную головенку, прижала в груди... К своей материнской груди, теплее и мягче которой не бывает на свете. Поднялась, поднимая меня.

– И Митенька ждет день и ночь папку своего, и мы с тобой ждем, не дождемся... Да как бы оно так: был, был такой герой-пулеметчик и сгинул – в жисть не поверю. Че же он вовсе у нас никудышный...

Протянутую лейтенантом бумажку мама взяла нерешительно, потянула с головы серый толстый платок, качнулась в новом захлебе и стоне. И снова все дружно, как собственную боль, подхватили ее неизбывный вскрик.

Протискиваясь в первый ряд, беззвучно размазывала слезы на крашенных щеках молоденькая Гуля Щеблыкина. В зажатом кулачке она держала очки, и они ей сильно мешали. Еще сильнее хмурила брови, густые и черные, строгая всегда бухгалтер совхозного отделения Ангелина Рыжкова. Обнявшись, странно раскачиваясь, плакали высокая и толстая Капиталина Насонова, самая старшая из доярок, и худая, как жердь, Мария Курдюмова, и я перестал что-нибудь понимать. Как это – без вести, когда люди кругом? Ни кузнец Скорик, ни Витькин отец... Ну, да, без вести вам, будто он уж совсем воевать не умеет... А слезы все равно текли по щекам в три ручья.

В густую стену высокой березовой рощи бился грозовой ветер. Он раскачивал старые белоствольные деревья, шевелил весь мелкорослый багровый осинник, примкнувший с недавней поры к столетнему березняку, свирепствовал на мелких берестяных кудряшках новенькой оградки загона. Гомонили особенно шумно под соломенной стрехой суетливые воробьи, предсказывая близкую смену погоды.

Принимая на себя напор буйной степной стихии, летящей из далеких краев, где война, роща потрескивала, поскрипывала, нагоняя на меня своим лесным гудом необъяснимый и жуткий страх. Казалось, над нами уже кружат враждебные самолеты, и вот-вот из них посыпятся бомбы, способные не только вырывать с корнем любые деревья, но убить любого из нас, разметать всю деревню... Не знаю, где я это видел но такое во мне уже было и мы о нем – как страшно, когда на тебя падают бомбы, – уже говорили с Митей.

«Что же они все думают, что у нас вконец плохо, когда это неправда совсем!.. Пусть, ранили. Пускай! А он собрал все силы и ползет себе к нашим. И приползет. Приползет! Не стоит уж так убиваться... если война и на тебя падают бомбы».

По корневищам лесной дороги затарахтел быстрый ходок – та-та-та, та-та-та, как рваная пулеметная очередь, захлебывающая собственной яростью, – и резвый жеребчик в яблоках вынес к воротам скотного двора управляющего отделением-фермой Пимена Авдеевича Углыбова. Резким потягом вожжей осадив жеребца, он привычно грозно спросил:

– Это што тут такое снова творится посредине рабочего дня? Што стряслось, почему всем скопом на скотном, когда карантин?

Там, где-то за рощей-березняком, где потрескивают и раскалывают небо быстрые молнии и продолжается злая война, непогода и... взрывы успели встрепать его седоватую шевелюру, отчего голова Углыбова казалась огромной, раздувшейся вдруг, а сам он весь стал еще более грозным. Он тяжело и грузно приподнялся в коробушке ходка, сбросил с плеч прорезиненный плащ – диковина для деревенского жителя, – попытался через головы увидеть

причину сбирища. Ничего не сумев рассмотреть, ударяя плеткой по широкой, ухватистой ладони, сошел на землю. Перед ним расступились. Мама лежала неподвижно. В руке ее была зажата небольшая бумажка, принесшая нам беду. Вытянулся, как отдавал честь, молоденький лейтенант. Пимен Авдеич обвалился сразу на один бок, отчего другой вспучился, заколыхался, провел по рыхлому лицу кулаком с плеткой.

– Эх, язви тя, мать-воительница, как объявился наш Ваньша Чувал! Што же оно, язви тя в душу по самые оселки... Дальше-то как все покатится, парень-лейтенант? Ах ты, плясун-верховод, Ваньша-веселый! Отплясался, выходит, и отборолся, неугомонная голова. Дура! Пуля-то дура всегда. Всегда! Лишь бы дырки вертеть в живом теле... Во-от, а то: не пишет он им и не пишет, не пишет и не пишет! Дождались весточки, будь ты не ладна совсем.

Он побрел вглубь двора, в коровники, забыв про ходок, присмирившую лошадь, оставив нас вокруг мамы.

Обступила тьма. Грохнуло над головой, словно рвануло гору снарядов. Небо заплакало.

2 Митя

А в ночь умер Митя, старший из нас троих...

Митя!

Митю я помню как в далеком густом тумане. Лежит под стеганным одеялом из лоскутов изможденный неизлечимой болезнью подросток, про которого за глаза говорят, что непонятно, чем еще только в нем держится душа. Глаза его крупные, голубые, все время уставлены на меня и словно чего-то просят и просят. А чего, может быть, просто внимания, чтобы посидеть с ним подольше, не бросать одного? Не знаю и уже никогда не узнаю, как не узнать многое другое, что пронеслось талой водой и улетучилось. Ни разу я не слышал его смех, нет во мне его улыбки. Как всякий, обреченный на неизбежную близкую смерть, о которой постоянно шептались, и которая к нему все не шла, и уже смирившийся с этой неизбежностью, он сохранился в моей избирательной памяти утомленно-спокойным, по-стариковски мудрым. Когда Раиса Колосова и прибежавшая с тока мамина тетка Лукерья Голикова, крикливая, вечно вздернутая на ссору, нервная пожилая женщина, привели маму домой, и мама, упав на постель, вовсе зашла в истерическом крике, Митя так и сказал ей по-стариковски рассудительно: «Чё уж ты, мама, будто не ждали мы ничего, если он не писал? Себя не жалеешь, так нас пожалей, нам-то от слез твоих нисколько не сладьше».

И еще он бубнил так же занудливо скучно, как старичок, пока из школы не прибежал Савка.

Савка – моя тайная зависть и непомерная гордость.

Не снимая болтающуюся на боку полотняную сумку с книжками, набычив короткую толстую шею, он спросил непонятно кого, словно об этом нужно было еще спрашивать:

– Правда... пришло наконец... папка погиб?

– Пришло, Савва, да не его рученькой писанное! – взъярилась вдруг тетка и привычно перекрестилась. – Пришло, Господи, прости ты нас окаянных. Таким бестолковую свою шарабанку удержать на плечах целой мудрено в мирное время, а их гонют еще черте-те куды.

– Не-е-ту! Ох, горькая долюшка! Нету вашего папы, детки мои: Митя, Савва, Пашенька, осиротели навек! – колотилась затылком о стену, завывала мама: все на ней расстегнулось, все растелешилось, вся она была грязной, в навозе, руки обвисали безжизненно. – Уби-и-или, ироды, поганая немчуря!

– погоди, мам, постой! Это же не похоронка! Да на войне таких случаев сколько хочешь, – бурчал набыченно Савка, зыря на маму исподлобья.

– Горесть одна! Горесть одна от тебя, свет наш, Иван Игнатьевич! – точно не замечая наше с Савкой недружелюбие к ней, не то так сочувствовала отцу, не то осуждала его тетка. – Наперед ить знамо было, чем оно кончится для тебя, да вслух не смела молвить. Бога просила по ночам уберечь для детишек, да и-и-и, Бог-то наш! Тоже любит поклоны себе, как всякое начальство, а бить-то по нынешним временам некому да и негде. Свечку по успошему негде поставить, до самого Славгорода ни единой церквушкию Осиротил, осироти-ил сынков, Ванюша-самохвват, попер безоглядно, сломя башку. В пулеметчики напросился.

– А че бы... Хромоногий он что ли, как Лунякин-скотник? Итак почти на полгода позже первых.

– Так наовсе броню давали как бригадиру.

– Лунякину надо броню, не отцу, – все бычился Савка и гнул свою шею, пытаясь исподлобья ожечь тетку яростным взглядом.

– Свет сошелся на твоём Лунякине!.. Сам директор приезжал уговаривать.

– Его ровня воюет, а он валандался бы тут с бабами...

– Дурак! Дурачок неумытый! Соплей на кулак еще не мотал... И-ии, порода безмозглая!

– Жить-то как, – тоскливо завывала мать. – Где ж одной троих прокормить да на ноги поднять?

– Я работать могу, – дулся Савка.

– Вот, о чем и сказано было! – Тетка всплеснула руками. – Вот она кровь-то бешенная. Ни в отце, ни в сыне нет уёму. Давай! А чё, с таких годков малолетних и пошли быкам хвосты крутить. Это по-нашему, в породе, расписаться не умею, а голову набекрень.

Мама не слышала ничего, не видела, Савка был злой, красный как помидор, и тогда снова рассудительно, как старичок, вмешался Митя.

– Не ссорила бы ты нас, тетка Лукерья, что за привычка стравливать всех как собак? – сказал он тихо. Тетка на мгновение стушевалась, – считая его похожим на деда, любила она Митю, всем было известно, – но только на минуточку позволила себе слабость, потому что и Колосиха полезла в нашу защиту, и Колосиха попыталась урезонить ее, сказав, что у нашей тетки и к мертвому найдутся придирки.

– Ить я и вредная! – снова всплеснулась тетка. – Ить я и сварница, какой не видывал свет! Худого слова за всю... когда и было за што... И щас никово не ругаю – што толку мертвых ругать! Другие вон живы, как рассужу, и до конца будут живы. А энтому басурманину-вертопраху – сам себе враг дак; некуда деться, отправляйся под пули! Кровушку жалко свою? Детишков – женку? Ванька Чувал, от Ванька Чувал и остался до последнево дня, царствие ему небесное. То-то бабка Настасья, сестрица моя родная... Уж непуть, она сроду непуть, хоть в шелка разодень и на божничку поставь! Сломя-то башку, мать-Богородица! Ох, Боженька мой небесный владыка, видишь ить и все знаешь!

– Сломя-яя, Лукерья! Не язык – помело: сломя-то башку, уж скажи – все мозги набекрень, – охнула Колосиха, крепче притиснув к себе маму. – Это и мой Афанасий там под Смоленском ее нарошно искал, эту пульку свою? Да разопадопасномне-то в душу твою – сломя бы башку, коровьи зеньки твои! – И завывла жалобно, пронзительно.

– Плохо мне с вами... Совсем седне плохо, – снова подал голос Митя, и снова всем оказалось не до него и никто не обратил внимание на его слова, замораживающие душу.

Мамка и тетка уже не плакали и не выли, а громко ссорились. Ссорились зло, вроде бы непримиримо, часто вспоминали бабушку Настасью, но, как всегда, и не до вражды, срабатывал природный инстинкт, в какой-то момент уступая друг другу и тут же находя новый повод для собственных возмущений, переходящих в безжалостные оскорбления.

Митя долго и странно смотрел на них, потом, осторожно вздохнув, попытался перевернуться на другой бок, чтобы лечь лицом к стене, и вдруг потянул, потянулся ногами, как засучил ими, и вытянулся во весь рост, словно бы задеревенел неожиданно для меня и опасно. Потом снова вздохнул. Шумно и с облегчением. Никто этого не заметил, а я заметил, и заметил, как широко раскрылись его испуганные глаза, как он весь обратился ко мне. В этом его взгляде было все: и невысказанная братская любовь, и особая его нежность ко мне, и что-то еще незнакомое, но проникающее глубоко и тревожно в душу. Это был прощальный взгляд путника, утомившегося бесконечной, скучной дорогой и решившегося вдруг свернуть на другую, трудную и неизведанную.

Он смотрел долго, не моргая, и очень хотел чтобы я его понял. А я точно закаменел.

Потом Митя вновь дернулся, поджав колени под подбородок, сжался в комок и, словно вспомнив нечто важное, что может не успеть сказать, зашевелил быстро-быстро ногами, как побежал изо всех сил. По его костлявому телу, обтянутому прозрачной желтой кожей, пошли бурые пятна. Язык шевелился, шевелился, вылезал страшно, морщился напряженно лоб, на шее вздувались синие жилки. Но слов не было, хотя мне по сегодняшний день кажется, что Митя хотел что-то сказать важное, нужное именно мне, кому он открывался

больше других, и лоб его вдруг разгладился. Опали вены на шее. На лице проступили мелкие красноватые прожилки, взгляд угасал. На мгновение озарившись теплым внутренним светом, светом всепрощения к нам, таким бесчувственным к его душевным страданиям и его физической боли, он вытянулся еще сильнее, вытянулся так, что из-под одеяла вылезли тонкие пальцы ног, с давно не стриженными ногтями, и застыл.

Крик мой протестующий комом застрял в перехваченном горле.

* * *

Былое – не комната, из которой можно выйти в любую минуту, резко хлопнув дверью, и никогда больше не возвращаться, И не минута сладкого самоупоения, вызванная в памяти насильственно. Это лишь то, что встает чаще всего в нашем изголовье невольной грустью великих утрат, от чего нет никогда покоя...

3 Тетя Луша

Зарядили обложные дожди. Похолодало. На улке грязюка, не пройти, не проехать. Мокрый, грязный, замерзший до посинения, насильно загнанный в избу, бултыхаю обесчувствовавшими ногами в теплой воде и слушаю ссору Савки с мамой. Савка упрямо гнет шею и стоит на своем – в школу больше не пойду, Пимен Авдеевич быков предлагает, возить снопы с поля. Мне завидно, я тоже хотел бы возить снопы на ток, где громыхают и крутятся маховиками веялки, молотилки, пожирая эти снопы, неумолчно грохочет старый комбайн. Хочется стать скорее большим, как Савка, и так же сказать маме, что я буду работать и помогать ей.

Мамка плачем и наконец обращается за помощью к молчаливой тетке Лукерье, заскочившей к нам в обеденный перерыв на ферме.

– Хоть ты скажи ему Лушка, помоги направить на ум, – вызывает она беспомощно к тетке.

– Этому скажешь: взял и послушался старших! Этот у тебя самый послушный – деревня уже на ушах от проделок! У-уу бешенный! Уставится круглыми лупалками и хоть выткни, не сморгнут, – разгоняется охотно на привычный крик тетка Луша, приглашенная «образумить» Савку. – Что уставился, зыркаешь, будто волчонок, или на худое наставляют? Мать ему одно: учись, обормот, не выучишься – толку не будет, а он ей наперекосяк. Мать – иди в школу, а он – не пойду, быков управляющий пообещал. А у самого-то, небось, парень уже в городе. В городе, летчиком станет. У-уу, глаза бы мои на вас не глядели на породу вашу хохлятскую. Наш-то, молоковский, и был только Митя, кровиночка тихая, и того Господь до срока прибрал.

Насчет породы всякой, тихой кровушки молоковской и буйной хохлятской, чуваловской – старая и болезненная тема. И старый казак-дед, которого я ни разу не видел, и отец из «табашников», хохлы, корня чужого, приبلудного, о чем слышу часто и в чем не могу разобраться. Давно хочу выяснить – из какой породы я сам, но спросить тетку побаиваюсь, а Мити уже нет... Конечно, отец-пулеметчик всему голова, чтобы о нем не говорили и я не против быть одной с ним хохляцкой породы. Но у мамки есть одна тайна, о которой мы мало знаем. В семейном мамином сундуке, с огромным ключем, похожим на зубцы загадочной башни, в самом низу, обернутый белым коленкором, лежит масляный портрет деда, нарисованного на фанере. Дед в казачьей форме и фуражке с царским околышем, при сабле, с лихо закрученными усами и лычками на погонах. Достает она его редко, раз в году. Закрывающая дверь на крючок, ставит под божничку, зажигает припрятанную свечку и, опустившись на колени, долго и сосредоточенно шевелит одними губами...

Тетка улавливает что-то на моем лице и ворчит:

– Гля, кума – два пима! Ты гля, и энтог заскребыш последний косоупится. И этот бусые усы распетушил, не иначе с норовом. Досталась бабе доля – избу искраими топить.

Мне неловко, обидно. Неловко – потому что я очень хочу походить на отца и Савку, хочу быть настолько же упрямым... хотя бы с той же теткой, а обидно – почему она так с нами, в грош никого не ставит.

– Зато вы у нас без норова, – в лад с моими мыслями бурчит Савка, – Маму задергали, и нам покоя нет.

– Так по доброму не выходит; а как с вами иначе? – тетка не защищается, она просто торжествует, уверенная, что действует всем нам на пользу. – Растете непослушными, уважения к старшим ни на полушку. Отец бы стал такое слушать?

– Кабы папка и я бы... Если бы папка. – Савка странно морщится, срывается с места, громко хлопает дверью.

– Иди-ии! Иди-ии, наука знатна – ярмо на быков надевать, ума прибавит сильно.

Хлопнувшая резко дверь приводит маму в чувства, она вскидывает глаза, произносит молитвенно страшно:

– Господи, как жить дальше? Где же ты сгинул, сокол мой, Ваня-отец, на кого покинул всех нас, неразумных? – Горе ее огромно, всеядно, носить его ей не под силу, это понятно и мне, надо бы что-то сказать, успокоить ее, а я словно заледенелый, холодный, неприятный самому себе. Мамка опускается на лавку, роняет голову па руки и начинает подвывать почти по-собачьи, и слова ее какие-то распевные, чужие мне вовсе. Тетка не любит ее надрывных причитаний, шумливо покривает, строжится, и тоже начинает подвывать, горько-прегорько плакать, И это слаженное, в два напевных голоса: «Знал бы ведал ты, Ваня наш, как нам тяжело тут без тебя! Знал бы ведал, как трудно их тут поднимать, ваших сыночков, женщинам-вдовам без рученьки крепкой!» – рожают во мне жалость к ним. Я перестаю сердиться на тетку, во мне закипает своя крутая слеза, тычусь куда-то меж них, обнимаю обеих, несчастных настолько от нашего с Савкой упрямства и своеволия, убитых каждая свои бабьим горем, и по моим впалым щекам тоже катятся горячие бесконечные струйки.

Причитают они долго. Измучившись бесплодными завываниями, мама вдруг поднимает незряче глаза на тетку:

– Не справиться мне с ними дальше одной, Луша. Ох, господи, не справиться. К маме в Землянку будем переезжать.

И снова они обсуждают эту мамину мысль долго и шумно, снова ссорятся, едва не до драки, обзывают друг дружку. Я млею весь, прилипнув намертво к маме, и целиком на ее стороне. Конечно, переезжать! Это же не о чем спорить!

Наконец тетка как бы дает свое согласие и уходит. Но и с этим решилось не враз. Мама дважды наведывалась в эту самую Землянку, выговаривала себе какие-то условия у председателя колхоза, и всякий раз возвращалась расстроенная.

Бабушку Настасью я знал только по разговорам, она, как и тетка Луша, недолюбливала моего отца, считая его непутевым «голозадником», в гости не наведывалась, и Савка говорил о ней сердито, с не привычным для него страхом. Не вышло с работой на ферме – отделения нашем совхозе наименований не имели и назывались фермой под номером таким-то, наше, к примеру, было под номером пять – и у Савки, никаких быков ему Пимен Авдеевич не доверил, а потребовал чтобы он заканчивал пятый класс. Тогда Савка, собрав узелок, сам ушел в Землянку, сам обо всем порешил с председателем колхоза Чертопахиным, и через неделю пригнал на ферму пароконную бричку,

Погрузились быстро. Я тоже что-то таскал и пихал на телегу, вызывая зависть у Витьки Свищева. Двух овечек и корову привязали на длинные веревки – корову обок телеги, овчечихи сзади. Некуда было девать лишь две большие кадки для солений да деревянное корыто, в котором обычно рубили капусту и месили тесто. Тетка Луша ворчала будто бы расстроено, как много у нас не влезает на бричку, но по глазам ее я догадывался, как она рада тому, что у нас многое не укладывается. Закончив обеденную дойку, прибежали доярки. Сбились вокруг,

– Очертя голову, Лизуха! – говорили сочувственно. – Ох, и отчаянная, ох, и заплачешься.

– Зря, совсем это зря, бабонька-мать!

– Себя блюди, себя не урони там, Лизавета, – напутствовала угрюмее всех Колосиха, – оно ведь по нашу душу возвращаются и с того света. Не забывай нас, подруженек унавоженных, а уж если совсем станет худо, возвращайся. – Сунула мне за пазуху бутылку парного теплого молока, украдкой принесенного с фермы, погладила по спине,

Савка сдернул с лошадиных спин вожжи, подобрался, чтобы понукнуть, да из-за конторы вылетел говорливый ходок управляющего. Привстал в плетеной коробушке Пимен

Авдеевич, заорал на жеребца свое раскатистое «тпру-у-у» еще не доезжая, налетел на нас, рыхлый весь, сморщенный, трясущийся, развел беспомощно вдруг руками:

– Че же скажу Ваньше – вернется, дак? Че говорить-то: бабу на сторону отпустили? Да че же маслом тебе там намазали, в ихнем колхозе, уж у нас и житья тебе никакого? Нельзя нам так, бабы, нельзя, милые вы мои! Это пока... а будет... много. Мно-ого. Всем в разные стороны, завязав глаза? Да сладко ли, горько, гуртом и батьку можно побить, а в одиночку? Нельзя, бабы, друг за дружку надо стоять до самой полной победы.

– И то, Лизавета! В чужой стороне медом не накормят, Лизка, подумай, – заговорили в голос доярки.

– Как мотылек на яркую лампу! А бабка Настасья, она тоже старенькая.

– Родилась там, че же чужая? Родилась и выросла. К маме еду, поди, не куда глаза глядят, – холодно, отрешенно защищалась мать.

– Помни... На волю узду не накинешь, воля, она всегда хуже всякой неволя, – недовольный собой, непреклонностью мамы, плачущей вместе с бабами, Пимен Авдеевич, потянув левую вожжу на себя, задрал жеребцу голову, понужнул свободной по крупу.

Затарахтели колеса.

Тут же сочно чмокнув, Савка подстегнул наших коней. Бричка дернулась и покатилась, завалив меня разом на спину. Заторопилось куда-то мутное серое небо. Сидящая впереди мама, запрокинувшись на узлы, закрылась платком. Ребятишки стегали корову, пихали упирающихся овецек, сопел рядом у колеса Витька.

За околицей, где сухими бодыльями раскачивался ободранный нами конопляник, ребята сбились в кучу, отстали, и я, кажется, уже не радовался переезду, во мне что-то строилось жалостливое к самому себе и тоскливое. Хотелось соскочить с телеги, побежать в этот, некогда густой конопляник, место самых таинственных наших игрищ, но ребята отдалялись. Набежали ближние околки, знакомые каждой березкой, и надвигались дальние, в которых я еще никогда не бывал, потянулись вовсе неизведанные чужие земли.

С кем теперь Витька будет бегать на ферму?.. А тетка Луша погладила на прощание и рука ее дрожала?.. Какая она у нас, бабушка Настасья... если уж Савка боится?

Ближе к вечеру, миновав два безлюдных, остывших от жаркой летней работы сенокосных полевых стана с лобогрейками, сенокосилками, конными граблями и большими бричками с дробинами, составленными под навесами, мы остановились, чтобы дать передышку тягловым коням, подкормиться скотине. В сумерках проехали третью ферму, где у мамы были дальние родственники, в которых я плохо разбирался, и где опять все долго плакали. Савка поторапливал маму, сердился, что так до утра не доехать, но его не слушали. И еще на пути были разные деревеньки, нисколько неинтересные мне и даже враждебные: чужое – всегда ведь чужое. Сумерки сгустились, упала ночь. Овечки громко блеяли, рвались с поводка и мама металась там, в этой сплотившейся темноте. Как мы въезжали в Землянку помню смутно. Вроде бы мелькнул ветряк на бугре – огромный, растопыренный, как чучело на огороде, скрипучий, будто раскачивающийся на протезах, – прошелестела под колесами, бредущей скотиной неглубокая речка и сразу пахнуло теплым жильем, тем вечерним, долго не истаивающим запахом всякой деревни, через которую недавно прогнали сытое домашнее стадо, где полно горьковатых дымов, остроты жареного-пареного, где работа кипит уже не в полях, а в огородах и пригонах... Во все это ласковое, умиротворяющее, клонящее в сон ворвался ворчливый старушечий голос и мама будто бы виновато оправдывалась... Я тоже хотел повиниться за то, что, кажется, сплю, и не успел. Жилистые руки бесцеремонно сгребли меня в охапку – это причинило неожиданную боль, я хотел закричать, но скоро уже передумал, на незнакомых руках мне оказалось удобно.

4 Бабушка Тасья

Проснулся я на печи за ситцевой занавеской, долго не понимая, что это обыкновенная печь. Раздавались приглушенные голоса. Приподняв край ситцевой занавески, я осторожно выглянул, невольно пугаясь этой смелости, страшаясь того, что увижу. Мама сидела за столиком у небольшого окошечка, вдвое меньше нашего прежнего. На сосредоточенном ее лице играли отсветы близкого печного жара. Бабушки из-за припечка не было видно, доносился лишь ее недовольный бубнящий голос.

— Как не жили, мама, а все-таки жили, — несильно защищалась мама. — Не хуже других: чё уж ты нас ни во что не ставишь? В совхоз записались, можно сказать одними из первых — сама благословила, пятый годик пошел с того дня. Вон-а понастроили да земли перепахали, из новины пашню какую сделали, не чета той, на которой ты пласталась.

— Я на себя пласталась, знала, что выращу-намолочу, тем жить стану весь год, надеяться было не накого...

— Так и нам грех жаловаться, все равно лучше, чем в колхозе, не за палочки работаем, а сдельно.

— То и разбогатели за пять лет вашей каторги, последнее износили, ребятишки в обносках, срам прикрыть нечем.

— Всем нелегко, время такое, — неуверенно и сбивчиво защищалась мама, и говорила: — А в работе дак Ваня уж сроду никому не уступал, и к нему с уважением. Премии получал. В бригады зазря не поставят. Уж сроду... Скотником был, еще даже не бригадиром, и то на собраниях всегда в президиуме.

— Дак чтобы на видном — это по вашему, по-чуваловски! На все руки — ни отнять, ни прибавить, — через силу соглашалась бабушка. — Подрасться доведись — и тут не в последнем ряду. Где хоть один Чувал, там и буза, где... Мое, в молодости трудами великими нажитое, поспущали на ветер и свое не нажили с такой бестолковой властью, зато грудь колесом, все митинги наши! А в котле безразмерном и голая кость сойдет за мясо: и на ложке окажется первой, и брякает громче.

— Мама, ну что ты совсем! Уж старуха, а все... Ну нету ее, твоей прежней жизни, слава Богу, с голоду, как в других краях, не помираем.

— И только, не помираете! А война вот подчистит все под метелку... И-ии, забыла про сытую жисть! За-бы-лаа!.. Тоже войной все закончилось. Баба, с одним наемным работником, а все было свое. Три дойных коровы держала. Две тягловые лошади, жеребчик. Полный двор птицы, овечки.

— И ходила за ними с утра до вечера свету не видела... Цепом сама на гумне...

— А ты — на восьмичасовом? А ты не с четырех утра и не до потёмок?

— Мама, не рви мне сердце! Три года не виделись, мама!

— А ты выслушай хоть раз до конца, мне уже долго с вами не мучиться, старой такой, скажу напоследок все. Много дал вам совхоз? Тыщи-миллионы? Не моя была правда, што так на земле не хозяйничают? Уравняли нищего с голым, а начальство на дармовом словно сыр в масле.

И она выступила из-за припечка. Тонкобедрая, статная, горделивая при всем ее невеликом росточке. Голова с валиком уложенных седых волос запрокинута, будто несет на себе корону небывалого величия. Руки сухонькие и жилистые встряхивают сковородку с блином, ловко сбрасывая на раскатную дощечку сочно янтарный блин, с еще кипящими на нем масляными пузырьками. Вся горячая, распаренная, вся светлая, как светлы ее капли пота на несильно сморщенном лбу, с не очень здоровым, но ярким румянцем на впалых щеках. Губы тонкие плотно сжаты. Носик маленький, восхитительно аккуратный, прям не нос,

а конфетка. Какая же она – бабушка Настасья, которую Савка не любит, называя нехорошим словом «казачка», смысл которого непонятен и пугает. Помню и Митины, не чаявшего в бабке души, сказавшего как-то и засмущавшегося, что это мамке было с ней тяжело... Ну, в прошлой, давнишней жизни, заставившей их разъехаться.

А в нынешней?

Ослепленный столь величавой старостью, я обомлел, перевесившись слишком, почувствовал, что потерял устойчивость, ничто меня уже не удерживает на теплом краю лежанки, лечу в пустоту и сейчас расшибусь насмерть о пол. Но не упал, не успел еще до конца напугаться, как руки бабушка ухватили меня, как хватают улетающего курчонка, не дали упасть.

– Эдак же ж он у нас ныряет вниз головой, девки? Это кто же так с печки слазывает?! – На меня смотрели строгие маленькие глазки, похожие на голубенькие бусиночки, проникали в меня бесконечно глубоко и достигали, кажется, самого сердца, в котором заныло, дернулось, напряглось, защемило, предвещая несчастье, которого боялся Савка. Но руки бабушки были мягкими. И вся она, несмотря на худобу, была мягкая, теплая. Глубоко-глубоко во взгляде будто бы строгим и властным взблескивали добрые живинки.

– Я увидел тебя... ты вон-а, какая!

– Ну и какая я у тебя растакая, мамку твою дреколю все утро и уже не хорошая? Не хорошая?

Господин, и голос! Не голос, а весенний ручеек, перекаत्याющий долгожданные звуки новой набухающей жизни вокруг.

– Не-ее, ты красивая.

Должно быть, я её удивил; не ждала она от меня таких слов: я почувствовал это по ее рукам, сильно до боли стиснувшими меня и тут же расслабившимися, вновь пославшими всю нежность своего прикосновения и свою возбуждающую теплоту моему напряженному тельцу. Нет-нет, угрозы от них не будет! И вообще, добрее души не было никогда в моей жизни, и нет больше на свете.

Она засмеялась... Она засмеялась, при этом ее маленькие сочно алые губки чуть-чуть раздвинулись и выплеснули на меня волшебные трели тысячи жаворонков, одновременно взлетевших в небо и счастливых своей какой-то небывалой радостью.

– Это я, замухрышка нонешняя Землянская, красивше баских? – и засмущалась, стала мягче, нежнее – если такое для нее было еще возможным, но я так почувствовал и пронес через всю свою жизнь эту ее беззаветную нежность от нашей встречи, – поставила меня на порожек распахнутой двери: – Марш умываться, говорун! Дуй на озеро!

Солнце било в глаза, пахло тиной, гнилыми водорослями. Наносило запахи дыма и рыбного варева. Едва слышно плескалась о берег вода. За огородами, – можно добежать без передышки, – непролазной стеной раскачивались камыши.

– Мама, ну куды ты его такого? Вот Савка придет и сводит для первого раза.

Мамка выбежала следом, схватила за плечи... Больно схватила, сердито, вовсе не так, как бабушка. Я вырвался и сказал:

– Баба Настасья разве не твоя мама и ты не должна ее слушаться? Отпусти, она велела сбегать на озеро.

– Да сбегашь, сбегашь! И плавать научишься, и на лодке грести.

Появилась бабушка. Мама нервно заговорила об этом озере за камышами и всякой воды вообще, которой я никогда не видел, но бабушка оборвала ее властно:

– Не видел, так увидит. А как увидит – навек не забудет. На родину к себе, поди, приехал. – И еще громче, еще строже: – И тут, и тут, где косточки деда зарыты – а не в совхозе твоём!

– Ох, мама, так я и знала! И Лукерья предупреждала, что ты не изменишься никогда, да некуда было деваться... Кабы только память о Ване... Всего не расскажешь.

– А меня и не надо менять – я свое отжила, бесчестье ко мне не пристало, дальше вам деток рожать и в чести воспитывать... Оставайтесь, скоро уйду.

– Да кто же об этом, родимая ты моя и единственная! Ну не мучь ты себя неизбывным. Двадцать годков позади, а ты все – камень камнем!

– Мать твоя, Нюрка, – казачья жёнка! Старой стаи звереныш. Волчица, можно сказать, с вздыбленной шерстью, да укусить все некого. Мне любо мое, а не ваше. С тем и уйду.

Я их не очень-то слушал: ну, говорят и говорят. Всех подряд слушать – о своем некогда будет задуматься. А там озеро – в камышах. Сырой болотный воздух, наполненный незнакомым и загадочным, и где свое, где чужое, что это на высшая премудрость, из-за которой столько шума, мне было безразлично. К тому же свое – обязательно плохо и предосудительно, свое – только у воров и куркулей.

Река и озеро были совсем близко, я их чувствовал, ощущал, они манили меня и волшебством неизведанного страха открывающейся мне новизны и таинственностью, тревогой маминых слов, но бабушкина твердость и непреклонность прибавляли уверенности, побеждая все мою детскую настороженность.

В заречье, где сквозь тучки отчаянно пробивалось осеннее нежаркое солнышко и на бугре размахивала крыльями мельница, пели на огороде бабы и девочки.

– Припозднились на огороде-то, давно пора бы закончить, – произнесла мама, словно предлагая поговорить о другом.

– Пили бы меньше – давно убрали, – буркнула бабушка, и, схватив меня за руку – ухватив больно, сердито, – пошла в сторону камышей.

Мама за нами не пошла, мама осталась, закрыв лицо полотняным передничком, в котором была у печи, помогая бабушке.

Таких камышей я не видывал в жизни: прям, до неба. Две высоченные шевелящиеся и шелестящие листьями непролазных стены с узенькой и хлипкой тропинкой посередине. Мы с бабушкой босые. На мне коротенькие штанишки, на бабушке длинная юбка из мешковины, проваливаясь по щиколотку, она поднимает по мере необходимости подол и продолжает крепко держать меня за руку.

Сквозь камыши пробираемся долго, кажется, им нет конца и мне уже не интересно шлепать по сырому гнилью, налипающему на ноги и цепляющемуся за пальцы. Я готов повернуть назад, к маме, которая не зря предупреждала, что озеро – это же озеро, а вода – она же вода, но сказать вслух не решаюсь, почему-то заранее уверенный, что такое бабушке не понравится, и что идет она по этому болоту только ради меня.

Камыши наконец расступились, и мы вышли на узкую полоску берега, усыпанного рыбьей чешуей, с несколькими широкими, деревянными лодками, блестящими под солнцем смоляными швами и уткнувшимися в мелкий песок. Слева тлел костерок с казанком на треноге, связанной из камышовых пучков. У костра сутился мужичок на протезе, размешивая алюминиевой солдатской ложкой упрёвающее густое варево. Двое других, сидя на борту лодки, разбирали сеть и выбрасывали на берег мелкую рыбешку, вынимаемую из ячеек.

Первым заметил нас одноногий. Смешно выпрямился, словно стал в положение «смирно», поднес ложку к виску плешивой головы и громко произнес:

– Рыбная инспекция в лице бабки Настасьи прибыла! У нас все в порядке, многоуважаемая, ни недолова, ни перелива, тютельница в тютельку уложились.

– Ты это... Руку к пустой голове не подносят. Али не знашь?

– Ну, бабка Настасья, нас то ж муштровали, как не знать!

– А дурачишься пошто, не малый, поди.

– Так жисть веселей, бабка Настасья.

– Веселость – не сытость. Сытому быть не лучше?

– Лучше-то – лучше, да где ж её взять: сытую-рассытую? В нашем колхозе, сколь помню, с 20-х годов все ищут.

– А у меня такая была... Али все обеспамятовали?

– Ты это, ты это, бабка Настасья... Не гони тут гусей в чужой огород. Мы люди маленькие, всем довольные, лишнего нам не надо.

– Не обмочись со страху, Савёлка-солдат. В камышах ЧК не сидит, у них ноне места поинтереснее. А тебе безногому-то да с ушибленными и мозгами, чё так пужаться? К стенке убогих, вроде пока не ставили, дальше Магадана не засылали. За шкурку вздернут, потрясут, чтобы страха насыпалось полные штаны и выпустят... Али не так, солдатушко?

– Ага! В последний раз меня сам начальник допрашивал. Ка-ак жахнет по зубам ручкой нагана, аж темно сразу вокруг.

Савёлкино балагурство бабке не интересно, втягивая в себя запах варева, она спрашивает:

– Рыбка-то че же упрела – запах щербы спозаранок внучонка поднял. Такое варево ему не знакомо, совхозный он. Щучки-щурятки ловятся, не перевелись? Их и окуньков я в ушице не сильно привечаю, белорыбица, она больше для заливного, а карасики да налимчики – благодать.

– Внук? Откель ему взяться – внуку-то? – чертыхаясь на мелочь, исколовшую руки, спрашивают из лодки, рассматривая меня подозрительно, будто я пришел с той, самой вражеской стороны, где запросто бьют по зубам.

– А то Нюрку забыл, не бегал за ней до неметчины и с Ванькой Чувалом не дрался?

– Нюркин сынок?

– Нюркин, третий уже, как на заказ одне парни. У них, и в отцовой семье Ивана, токо парнию Сколь? Да никак семеро.

– Семеро! Один к одному. И деваху нашлась напоследок.

– Первого Нюрка никак схоронили недавно в совхозе? – любопытствуют из лодки.

– Схороника, родимая! Схорони-иила, – искренне печалится бабушка.

– А че же с броней в совхозе, у нас в колхозе и то – почти у каждого бригадира. А Ванька вроде бы как сильно поднялся, говорили, на всем животноводстве сидел и бронь была не положена?

– Не на всем животноводстве совхоза, а на одном отделении. И бронь давали, а он отказался. Отказался, горячая голова!

– Вот же оторва, мать моя Богородица! Вот уж змей подколодный! Вообще-то в начальство таких не садят, а энтот сумел. Суме-ел! Характер, он – тоже...

– Характер – не мед, сама не шибко к нему благоволила, но и напраслину не возводи: змий! оторва! Нет больше Ваньки, извещение пришло – без вести пропал. Ну, а это... не тебе говорить. Вернулась Нюрка вчерась с двумя своими причиндалами да неохватным богатством. Не знала, куды разгружать такое добро. Возились всю ночь.

– Эх, язви тя, Ванька Чувалов пропал! Мужики, слышь! Мужики, Ванька Чувал без вести... – Плешивого и хромононого рыбака словно вмиг подменили. Сделав два широких шага, на каждом увязая глубоко в песке колченогой ногой и вытаскивая ее с сочным чмоканьем, он вырвал мою руку из бабушкиной, и я оказалась у казана с кипящим в нем варевом. – Ты это, мил куманек, ты это, малой! Рыбку-то любишь? Вот-вот, гляди! Всякая! Крупная! Хошь? – спрашивал он, ворочая в казане ложкой и выворачивая из пены один за другим большие рыбы куски. – Вот! Гляди, какой кусище! Налим самый настоящий. А это... А этось – щучка знатная. Килограмма на три, мотню едва не порвала. Уж билась в мотне, пришлось оглушить. Бери камышину потолще, втыкай – ложок-то нет, не баре, втыкай, выволакивай, я поддержу.

– Ты это, Савёлка, не суетись! Нам недосуг потчеваться у вас, в избе готово свое застолье, блинов напекла для внука – гостенька дорогого. Я – озеро вот показать... Дед Василий, покойник, любил, сыночка хотел своо... Наше оно, озерко-то... Раньше берег не был таким, широко было песочка. Почти до самого переезда у мельницы. – Теперь уже она снова выхватила мою руку из Савёлкиной, потащила к воде. – Ступи шажок-другой в водичку, плесни пригоршню на личико, поклонись родимой земле. Наша, наша она была, Пашенька. Я холила ее как робёночка. Уж навозу на санках перевозила... Ох, как свежо, Господи мой, целый век бережком не расхаживала. Ноженьки уж отвыкли от всево...

С ней что-то случилось. Лицо разгладилось – ни морщинки на нем. Глаза заискрились, словно вмиг помолодели и устремились вдаль. На озеро ли, по водяной ровной глади с мелкими барашками волн, еще ли куда-то в неведомое мне и непостижимое. Но в том, что её с нами нет в эту минуту, я не сомневался: так часто случалось и с мамой, когда что-то наводило ее на воспоминания об отце.

Я вошел в воду бабушкиного детства, вошел по колено, дальше идти было страшно; до этой минуты и не видывал такой бесконечной глади, покрывающейся при каждом дуновении ветерка убегающей рябью, и я боялся её. Согнувшись, опустил в воду ладони, сомкнул их, приподнял, сунулся лицом в пригоршню, и почувствовал прикосновение странного холода самой живущей и непостижимой для меня вечности. Все вокруг было внове,дохнуло на меня неизвестностью, обжигающей холодом, о котором встретившиеся мне люди не хотят говорить, но что живет в каждом из них, и чего в прежних людях, включая самую непонятную тетку Лукерью, мне встречать еще не доводилось.

* * *

Каждая жизнь загадка и каждая непознаваема до конца, в своей бы как-нибудь разобраться хотя бы под старость, но ведь и умираем мы, чаще, по-скотски, не соизволив даже посылить расплатиться с долгами.

Светлой памяти тебе, спасительный огонек моего деревенского детства!

Я грешен перед тобою и каюсь, каюсь прилюдно, у всех на виду! Прости, дорогая моя и любимая бабушка Анастасия...

5 Дядька Матвей

Вернулись мы с бабушкой с большой низкой рыбы, щедро врученной рыбаками, оставивших во мне добрые чувства своим отношением к бабушке. Её уважали и её же побаивались. Причем, боялись больше, чем уважали, словно бабушка могла принести им беду.

Мама занималась уборкой в избенке, сложенной из земляных пластов, как попало обмазанной глиной в пережку с конским навозом, с плоской земляной крышей и ничем не подшитой изнутри жердяной обрешеткой. Избенка стояла выходом к проезжей дороге от мельницы и речки в центр села, в котором я еще не бывал. Ее небольшое оконце выходило на эту дорогу, а глухая стена смотрела на огород, сбегаящий под угор к озеру. У другой глухой стены, имевшей когда-то еще окно и почему-то заложенное, стоял большой сундук, окованный жестяными полосками, с чуть полукруглой крышкой и накрытый какой-то пестрядиной. На стене над сундуком висело несколько пожелтевших от старости фотографий, обрамленных вместо рамки льняным полотенцем с чудными красными петухами, вышитыми крестиком. От входа из сеней, сразу вправо, стояла огромная русская печь с небольшим закутком, занимающая четверть избы. Бабушкина кровать стояла сразу за печкой и до стены с заложенным окном, но напротив стояла еще одна железная кровать, застеленная суконным солдатским одеялом, на котором лежали знакомые мне мамины вещи, отчего я догадался, что там будет спать мама. В углу, над этой кроватью, была устроена божничка, с потемневшей иконой. А где же место для Савки?

Савки не было с вечера, разгрузившись, угнал подводу и с концом, но никто за него не волновался. За стол меня усадили одного, на то самое место у окна, где я увидел, проснувшись, маму. Поставили горку блинов на отдельной доске, небольшую глиняную чашечку с топленным коровьим маслом и воткнутому в нее птичьим крылышком, и такую же чашечку со сметаной. Есть хотелось очень, но я почему-то не решался. Бабушка словно уже потеряла ко мне интерес, сидела, опустив на колени безжизненные руки.

– Ты в сметанку мажай, в сметанку. Или перышком маслице аккуратно намазывай, – не смело и тоже не ловко подбадривала мама. – Своей коровушки у нее нет, так она к соседям сбегала еще спозаранок, ишь, какая густая сметанка. Домашняя! Домашняя сметаяка – это тебе не сливки на молоканке. Теперь корова у нашей бабушки будет – председатель здешний телку стельную к осени обещал, если пойду работать на ферму. К весне растелится, свою сметалку станем снимать. А как не пойти, если всю жисть в доярках, куда мне ище? Коровка будет у нашей бабушки Настасьи, теленок будет и внучка мы ей привезли. У неё-то сынков... Ох, боже ты мой...

Она явно подлизывалась к бабушке, хотела ее задобрить, я это понимал и еще заметнее надувался, готовый вот-вот заплакать.

– Ну, ну, причендал, не швыркай тут носом! – рассердилась вдруг бабушка. – Слезами жисть не задобришь, у меня не куксятся.

Наверное, я бы заплакал, но мама провела рукой по волосам и заплакала раньше меня.

Бабушка поднялась, шагнула в угол с божничкой перекрестилась, прикрыв сухонькой ручкой затрясшиеся губы, сказала:

– Ребенчишко ведь и вправду – че же со мной... Прости ты меня, старую грешницу, Нюра, прости, ради Господа! Не знаю сама, што творю.

Она заплакала бы наверное, да мама вскочила поспешно, охая, что все у них там выкипело и пригорело в печи, кинулась руками в огонь. Охнув и бабушка кинулась вслед.

Потом, пока они вытаскивали из огня один за другим чугуны, подливали в них воды, размешивали и перемешивали содержимое в них, забыв обо мне, суетились в дыму и чаду, я, пересилив страх, проглатил без всякого умасливания и подсметанивания несколько теплых

блинов, и снова притих, как ни в чем не бывало, сунув руки под стол. Подвернув с дороги, прямо под окном останавлась бричка. Кто-то шумный лез через сени в избушку, издали еще, в синем чаду, устремившемся в отворенную с маху дверь, орал во всю молодую и задорную плотку:

– Гости, слышно, к бабке Настасье припожаловали! Гости к нам приехали с пятой фермы! А ну, подайте мне младшего племяша!

Громкоголосый крикун уже рядом. Коротконогий, короткошей – а я куда-то высоко голову задираю, – толсторукий. Ну, Савка и Савка. Белые кудри свисают на широкий упрямый лоб, удалая улыбка – сам черт ему нипочем, – крепкие молодые зубы, брызжут здоровьем. Страбастал, словно вцепился клешнями, поставил на лавку поближе к свету, отпрянул на шаг:

– Во-о! Сойде-еет, наш парень! Ха-ха, не совсем вроде бы, не Савка, но чуваловский. Чуваловский! Ха-ха, да ты не дуйся, бабка, тут нету шибко виноватых, чья кровь взяла, та и взяла. Но для меня – кто от нашего Ваньки – все Чуваловы, все в нашу кость. – Снова стиснул меня сильными руками, приподнял, хряпнув макушкой о бревешки наката низенькой бабушкиной избушки, спросил: – Хочешь на конях прокатиться? У меня, брат, пара на загляденье. Айда со мной!

– Матюшка! – вскрикнула мама, и так же почти громко протестующее вскрикнула бабушка.

– Слышал, кто я? Не сказывали еще обо мне? Ну, скажут. У бабки Настасьи на весь наш род собрана бухгалтерия знатных Чуваловских дел. Дядька я твой, дядька Матвей. Я Чувалов и ты Чувалов, понятно? Так Чувал ты или Молоканец – гони ответ! Да Чувал! Чуваленок, баба Настасья! Вырастим, ха-ха, драчуна на всю деревню. А потом фашиста пойдем колошматить! Пойдешь со мной этого суку добивать, Пашка? Говори!

– Пойду, – отвечаю охотно и радостно, мотаясь в крепких руках, продолжающих швырять меня под потолок.

– Во-о! Мы ему за нашего Ваньку, – и прижал меня к себе, угасла удаль в глазах. – Пусти его седне со мной, Нюра, снопы возить Мне тоже скоро на фронт. Вишь, как все оборачивается для нашего брата!..

Но никуда меня не отпустили, так же убегая шумно, как вбежал, дядька Матвей кричал, что у Молоковской породы Чуваловы сроду в людях не ходили, только это никому не приносило радости и не принесет, что в другой раз он и спрашивать никого не станет, увезет Пашку без всякого спросу.

– Ну што, понравился те ветролом? – строго спросила бабушка и я с горяча хотел было радостно кивнуть, но, встретив испуганный мамин взгляд, вовремя стушевался. – Понравился, вам, безмозглым, ухарь такой не может не нравился. Похожие трясогузки вашему брату слаще самой сладенькой ягодки, – ворчала бабушка. – А ты не за тех держись, кто языком чешет, да обещает не знамо што, а за тех, кто молча в земле-матушке ковыряется.

– Так оно, так, Паша, близкие люди плохого не насоветуют. Запоминай, что баба говорит. А завтра и мы пойдем бить поклоны земле, – сглаживая какую-то неловкость, сказала мама. – Завтра я и мы напросимся на работу в овощеводческую бригаду. Вон-а, за речкой колхозные огороды, морковку, кажись, копают.

Бричка дядьки Матвея убегала сердито. Щелкал яростно бич, ярился молодой зычный голос.

* * *

На следующее утро мама я и Савка, вернувшийся поздно и спавший со мной на печи, вышагивали по деревне, удивляясь ее песчаным дорогам с глубокими колеями, пожожими на корыто, Я заглядывался на пузатые деревянные избы с обомшелыми крышами, кое-где

под железом и с высокими завалинками, каких у нас на пятой ферме не было и в помине. Хозяйственный двор оказался просторным, с навесами, под которыми хранился весь колхозный инвентарь. Шла утренняя разнарядка и народу было много. Всё бабы, девахи, подростки. Мужики – лишь преклонного возраста. Маму знали многие, кивали сдержанно. Савка шел впереди, пригнув голову.

Разнарядка шла долго. Кому-то строго выговаривал бригадир тракторно-полеводческой бригады Половинки, пристукивал кулаком по перилам крылечка, с которого раздавал задания. Его сменила Федосья Лузгина, заведующая огородной бригадой, и объявила, что начинается рубка капусты за рекой у водяной мельницы. Что, если не усилить темпы работ, то урожай может оказаться под снегом, но его все равно придется спасать и работать в снегу, как уже было минувшей осенью и не пошло впрок, потому что вокруг развелось много нерадивых и несознательных, а может быть и вредителей. И в этих условиях, особенно, когда фашист уже под Москвой, снисхождения не будет никому.

Председатель появился, когда все уже наговорились и нашумелись. Задержавшись на крыльце, сипло сказал, что с говорильней пора закругляться, солнце уже вона-а где высоко, и прошел в бригадирскую. Вскоре выбежал хромоногий мужичок, призывно махнувший маме рукой и крикнувший:

– Чуваловы, к председателю! Решать будут с вами. Да малого не тяни, куды ты с ним прешься?

Мама и Савка поднялись на крыльцо. Потом появился наш дядя Матвей Чувалов, и тоже проследовал в бригадирскую. Вышел он скоро вместе с Савкой. Вскочив на бричку, они уехали.

Мама вышла в сопровождении Федосии Лухгиной и сказала, что пока разнаряжена в её огородную бригаду и они отправляются на уборку капусты.

Капустное поле оказалось не там, где морковное, а совсем в другой стороне. Идти пришлось через плотину у водяной мельницы, и по первому разу мне было страшно смотреть на вертящееся колесо, стекающую с него воду и воду, шумящую небольшим водопадом под самой плотиной. Ребятни было много. Взрослые рубили кочаны, а мы, мелюзга, таскал в кучи и собирали все отломанные при рубке капустные листья. В конце огорода росли ряды смородины и крыжовника, но ягод на них уже не было. Огород сбегал по уклону к самой воде, густо зарос бурьяном и лопухами. Это было невиданное царство тайн и страха – высокие конопляники на ферме не шли ни в какое сравнение. Были здесь и яблоньки с невеликими, очень кислыми плодами – их так и называли «перекоси рот». Топрицились кусты, густо усеянные помидорами молочной спелости. Непроходимой стеной шумел сухими семенниками высокий укроп. Я зачем-то полез в него, приметив натопанную дорожку, и едва не столкнулся лоб в лоб с вылетевшим из укропа давно не стриженным пацаненком, волосы у которого были патлатые и грязные, нависали на глаза.

– Ты кто? Кто ты такой? Че лазиешь чужой дорогой? – заверещал он как недорезанный, заставив меня испугаться.

– Я... Я – Пашка, – сказал я, благоразумно уступая дорогу. – Мы – первый день, мы только приехали с пятой фермы.

– С какой пятой фермы?

– Не знаю... Мы жили там долго, пока похоронка не пришла на папку.

– Убили?

– Написано: без вести пропал.

– Разницы нет, значит, убили. Кто по фамилии?

– Я?

– Ну ты?

– Чувалов... Пашка.

– Ага, Чуваловский гусь! А Матвей Чувалов – твой дядя?

– Дядя! Он вчера заезжал, хотел меня покатать, а баба непустила.

– Бабка твоя хуже старорежимницы. Два раза в тюрьме сидела и хоть бы что, только злее становится.

Новость была страшная, оглушила, я не мог гичего сказать и с трудом выдавил:

– За что... сидела? Кого-то убила?

– Никого не убила, убила тебе. Сословие ее казацкое, а значит вражеское Советской влати и подлежит полному искоренению. Да таких, рази, искоренишь, из-под земли вылезут!

– Её тоже... искореняли?

– Поменьше задавай вопросов. Все равно, как рассуждает мой дед, ответов никто не знает. А кто хочет узнать – оказываются далеко в тайге и на Севере.

– Где была моя бабушка? А как же она вернулась?

– Такая с того света вернется. Её все боятся, кроме моего деда... Ага! Давай руку, – сказал незнакомец серьезно, подражая взрослым, и предложил: – Давай знакомиться. Я – Толька Селезнев, мне утром ище бабка твоя наказала сдружиться. – Он схватил мою руку, крепко сдал и, заглядывая в глаза, удостоверившись, что я умею терпеть, сказал, как наградил: – Молодец, не нюня, умеешь терпеть. Пошли морковку рвать. Хочешь синей морковки? Уу—у, какая здоровая, как поленья.

И поволок через конопляник, лопухи, упал со всего маха в глубокую канаву, подернув следом меня, скомандовал шепотом:

– Замри и не шевелись!

Неловко падая, я ушибся, и снова терпел, украдкой сглатывая слезы, а Толька шипел азартно:

– Гля, гля, видишь? Дикие...

В лопухах копошилась гусыня и несколько поздних неокрпших гусят. Никакие они были не дикие, слепому же ясно. Я не согласился и привел Тольку в ярость.

– Сказал, дикие, значит, дикие. Учит он тут кого-то, кукла совхозная.

Он потребовал, чтобы я нашел ему палку. Но пока я ползал и пытался хоть что-то найти подходящее, Толька перескочил к другому кусту, перелез еще, по-кошачьи спружинив – даже спина хищно выгнулась, кинулся в мирно пасущуюся стаю, сцапал самого нерасторопного гусенка, азартно трахнул его о землю.

– Вот, могу без ружья!

Пищали, разбегаясь по лопухам и траве, гусята, гоготала, вытягивая длинную шею гусыня-мать, Я был ошеломлен и обескуражен, я готов был броситься на Тольку, но вместо этого почему-то заплакал.

– Плакса, для него же... Как ты на войну пойдешь, если боишься... Тихо, я щас. – Точно бесшумное привидение, оставив меня в неизвестности, он скрылся в непролазном чертополохе.

Ожидал я его добросовестно и долго. Очень долго. Толька не возвращался. Зато вдруг пискнул и зашевелился гусенок. Я схватил его, сбежав к речке, налил в раззявленный клювик воды, и когда он затрепыхал возрожденно, пустил на воду. Он поплыл, отчаянно заработал красными лапками, а я шел наобум, раздвигая густые высокие заросли и скоро снова услышал веселые голоса женщин, девчат... И тут – как белое пламя вдруг средь буйной осени. Широкие белые банты, почти льняные волосы. Маленькие кулачки, растирающие заплаканные глаза, цепкая крапива, и жалобный девчоночий писк, свершивший со мной чудо. Минуту назад еще сам испытывая некоторую растерянность и страх перед буйной травяной вольницей, в которую увлек меня Толька, я вдруг почувствовал прилив небывалых сил, уверенность, желание творить добро, и на правах властелина этой крапивы, непролазной лебеды, чертополоха, строго, невольно подражая Тольке, спросил:

– Ты кто здесь такая?.. Лазиешь по чужим дорожкам.

– Ма-ри-и-на! – попрежнему плаксиво произнесла девчонка.

– А зачем пришла? Это наше место. Только щас прибежит, он тебе задаст.

– Я не зна-аала. – Личико Марины в бантах сморщилось еще больше, глазенки наполнились новым страхом. – Здесь колючки. Они хватаются,

– Это крапива, а не колючки, – высокомерился я, не зная как проявить скопившееся благородство, и потребовал: – Вылезай давай, а то нажалят, заболеешь и все.

Девчонка была босая, в спутанных волосах торчали репейники,

– Я – никак. Хочу, а они не пускают. Ко-оолются, – хныкала девочка, закрывая кулачками глаза.

– Только не хнычь, я хныкалкам не помогаю. Колются ей! Щас перестанут колотиться навсегда.

Под ногами у меня оказалась та самая тонкая и длинная палка, которая недавно требовалась Тольке, но уже не просто палкой виделась она мне, а настоящей шпагой. И не крапива теснилась вокруг, а неисчислимые вражьи полчища,

Засвистела решительно мое мстящее оружие. Налево и направо падали головы злой нечестии, и бился я не ради этой босоногой заплаканной Марины, а ради самой лучшей принцессы на свете. Как бились сейчас на далекой войне мой отец, отец Витьки Свищева, кузнец Скорик, лейтенант Пилипенко. Враги теснили меня, я отступал, чтобы тут же шагнуть снова вперед, скорее приблизиться к моей принцессе, и снова отступал. Сражался, позабыв обо всем на свете, сражался насмерть. Вжик – и нет вражины! Это тебе за смерть мужа доярки Раисы Колосовой, погибшего на далекой Смоленщине. Вжик – нет еще пятерых. Это за батю, засыпанного фашистскими бомбами. Новый замах со всего плеча – и у ног моих повержена целая тьма.

Ага! Змея Горыныча выпустил? То-то! Всей своей вонючей армией не можешь справиться с одним Пашкой Чуваловым? Ладно, давай своего телохранителя. Давай, давай! Подходи, Змеище-вражище! Мало тебя рубили русские богатыри? Мало? Так получи еще. Еще! На! На тебе! На! Пересчитай уцелевшие головы? Схлопотал? Сразу трех как не бывало. А вот! А так! А так! Еще две! Еще!

Валились направо и налево несметные вражеские полчища, недобитые красным конником Пименом Авдеевичем Углыбовым, разлетались в зеленые клочья те, кто успел увернуться от гусениц танка, увиденного недавно на плакате в конторе у Гули Щеблыкиной, никли с переломанной хребтинсой, кого не успел догнать в Гражданскую, оставшийся без ноги пастух Захар-немтырь, и погибли все. Все до единого. Вы свободны, принцесса!

Качались вокруг обчухранные бодылья Я был мокрый, запыхавшийся, но счастливый. Ко мне тянулись благородные руки белоголовой принцессы.

– Они хоть и порубанные, но жалят. Под корни ступай. Ну, ниче? – Я не хотел награды, я исполнил долг.

– Не-е! Не колются, – наплывал из трепетного облака ликующий голос моей принцессы,

– Ты с кем здесь?

– С мамой. Она в конторе работает, а седне их тоже погнали на огород. Я попросилась хоть до обеда.

– Чья ты такая?

– Шапкина Марина.

– Шапкины, которые возле нас, они тебе родня?

– Где, возле вас?

– Ну там, у речки и озера. Где Савченковы и Селезневые.

– Савченковы – это моя бабушка.

– А моя мама скоро на ферму пойдет. Она доярка.

– И мой папка на ферме работает и бабушка, но меня на ферму не пускают.

– Почему?

– Мама говорит, что папка и бабушка у нас некультурные. Они там со своими коровами да скотниками только и знают, что ругаются по-плохому.

Слова насчет ругачки на ферме почему-то вызвали во мне раздражение, я сердито спросил:

– Как же ты слышала, если не была там ни разу?

– Не зна-а-аю, – скуksилась Марина.

– Вот и не говори, чего не знаешь. – Мне очень хотелось заступиться за доярку и я сказал как можно строже: – Никто там вовсе без нужды не ругается. А по нужде когда – это не в счет. Когда тебя корова секанет хвостом по лицу и ты заругаешься.

– Я не буду дояркой, пусть баба, я учительницей буду. – И она вдруг побежала от меня. – Мама, мама! А вот и мама моя! А я в крапиве была, Пашка меня вывел, я не плакала.

Молодая женщина с накрашенными губами и ленивыми белыми пальцами подозрительно посмотрела на меня.

– Ну-ка пошли отсюда. – Голос у нее не предвещал ничего хорошего; резко придернув Марину, женщина вытерла платочком её лицо, поправила платьице, волосы, пихнула вперед на тропинку. – То я не вижу, плакалы ты или нет. Босиком! Ни на шаг чтоб до самого обеда. А тебе, мальчик, спасибо.

– Он – Паша. Он к бабушке Настасье приехал жить.

– Иди не оглядывайся.

– Если вам некогда, со мной оставьте, – простодушно предложил я.

– Ты посмотри на него! – Женщина вздернула брови. – Присмотрит он, нашелся нам ухажёр.

Ухажёр! Я задохнулся обидой. да при чем тут... когда я спас ее только что от Змея Горыныча!

Они уходили не оглядываясь, и я снова ворвался в дикие заросли крапивы, крушил ее яростнее прежнего, крушил, пока не выдохся окончательно. И упал, раскнянув руки, подставив себя, несчастного кругом, теплему солнышку. А здесь и принцесса снова! В коротеньком белом платьице и белых сандалиях, умытая и причесанная. Склонилась:

– Тебе больно? Она тебя тоже накусала?

Я вскочил, замахнулся, и снова пошел крушить все подряд.

– Ой, ой, а зачем! Она больше не будет, ей же больно.

– Чтобы... А так. – Я отбросил палку, вытер о холщевые штаны зеленые руки,

Буйной заросли вокруг как не бывало, В ней уже не заблудиться, и никакого Змея, даже одноглазого, теперь сюда ни за что не заманишь...

6 Марина

В огороде мама работала всю неделю, и всю неделю я был, конечно же, с ней. Марина приходила не каждый день, но когда она приходила, у меня уже были приготовлены для нее новые, не менее непроходимые и непролазные заросли. Я тащил ее в эту таинственную новую глухомань, где Марина непременно терялась по нескольку раз, плакала, естественно, когда на нее нападали в мое «отсутствие» страшные чудища, и я, насладившись ее беспомощностью, готовый пожертвовать собою в неравном поединке, снова кидался на выручку... Потом она благодарно хваталась за мою надежную, верную руку и шла без раздумий, куда бы я ее не позвал.

Иногда среди трав раздавался разбойничий посвист и налетал Толька. Подбоченясь, орал заполошно:

– Я хоть где вас найду, понятно, мухоловы!

– Злой он, да? – спрашивала Марина, всякий раз прячась доверчиво за мою спину. – Он хочет с тобой подраться?

– Он гусенка убил, – супился я. – Почти насмерть.

Марина боялась прыгать через канавы, и я сердился:

– Ты, попробуй сначала, сколь я тебя буду таскать? Ты как разбегись. – Я разбежался, показывал, как надо прыгать.

– Стра-а-ашно!

– Кукла ты, – теряя всякое благородство, выходил я из себя. – Вот перестану с тобой играть и все.

– Я не ку-укла... Мари-и-ина.

– Да Марина, Марина, не хнычь. Пошли, перенесу уж в последний раз. – И подставлял привычно загорбок. Марина хваталась за шею, я осторожно спускался в канаву, не без надсады выкарабкивался на другую сторону.

В тот последний день нашей осенней встречи в канаве под слоем опавших листьев оказалась стоячая вода, я поскользнулся и мы шлепнулись. Марина редела. Подолом рубахи я вытирал ей лицо, шею, руки и не знал, куда деться со стыда.

– Ну че! Ну че ревешь, как корова? – лепетал я сердито, оглядываясь испуганно по сторонам. – Я же не нарошки.

– Я мо-о-окрая. Пла-атье. Мамка больше не пустит.

– А мы постираем и высушим. Снимай, – приказал я решительно.

– Не хочу, не буду, – громче заревел Марина.

– Снимай, дура. – Я был неумолим и тверд. – Можем и не стирать. Выжмем хотя бы и то.

Отжав платье, мы повесили его на куст смородины и притихли в затишье с подветренной стороны. На плече у нее была ссадина и Марина все время почему-то закрывала ее рукой. Про Витьку я ей еще не рассказывал и теперь решил рассказать. Как мы однажды в бочке купались. Он залез первым, выскочил мокрый и радостный, а я не полез, я плюхнулся вниз головой, да и застрял, одни ноги кверху. Едва выбрался – чудом лишь не захлебнулся насмерть. Марина смеялась и уже не лязгала зубами от холода и страха.

Но тут выскочил Толька. Сорвал с куста платье.

– Ага, попались, которые в говне искупались! Попались!

Он побежал. Я рванулся было следом, но обожгла мысль, что это унижительно – гоняться за каждым – и остановился.

– Сам принесешь, набегаясь когда.

– Чего? – Толька остановился. – Ты отбери сначала попробуй, ты отбери.

– Пойдем, Марина, – сказал я, не замечая больше Тольку. – А то потеряют еще.

Сбитый с толку Толька крикнул разочарованно:

– Да стойте, мухоловы, – пошутить уж нельзя! Забирайте свои тряпки, лучше бы не связывался. – А потом, как бы в отместку, крикнул: – Мишку Шапкина, ее отца, на войну забирают. Теперь посмотрим, как она будет без отца, краля мамкина.

Полину Шапкину, мать Марины, работающую в конторе, почему-то в деревне не жаловали – это я уловил с первых дней. Да и мне, признаться, она не понравилась с первой встречи. Жеманная какая-то, высокомерная, крашенная-перекрашенная. И вся эта ее размазанная красавица, белые холеные руки, манера держать себя с женщинами, непременно стараясь выделиться, были неприятны не только взрослым, но и нам, пацанятам. Зато отец ее, дядь Миша Шапкин, был мужик что надо. Плечистый, подстриженный под ежика и всегда веселый, он мог шутя, бесцеремонно влить тебе звонкую затрещину и тут же взбросить на спину лошади: «Погоняй, неумеха! А ну пятками ей под бока! Огрей, огрей, если мужик!» И я буцкал голыми пятнами по лошадиным ребрам, растопыривал руки с поводом, вытаращивая глаза от страха, подскакивал на мохлястой спине ленивой рабочей коняки.

Утром, когда подводы с вновь призванными на войну мужиками отходили от правления, дядь Миша подманил меня украдкой, сунул в руки свой пятиколенный бич:

– На память... Чтобы за Маринку было чем заступался. Будешь заступаться?

– Буду,

– Смотри, я Чуваловым доверяю. Так уж устроено в жизни, что девчонкам всегда заступник нужен. Ну, а потом и они нам отплатят дружбой... Понял? Вернусь, строго спрошу.

Я ничего не понял, но понял, что в отношении Марины он надеется на меня.

– Ты воюй смелое, дядь Миш, мы проживем.

– Прощай, племян, так и не свозил тебя за снопами, – подхватил меня на руки дядя Матвей, самый последний из Чуваловского рода, отправившего на войну, вместе с моим отцом, уже пятерых. – Коней и бричку я Савке передал, хотя наш Чертопахин и упирался. Один он теперь на всю деревню за всех Чуваловых. И ты! И ты – Чуваленок, не забывай, да мамку не давай в обиду... Таким, как она, красивеньким вдовушка, теперь труднее всего. – Поцеловал вдруг, обдав запахом сивухи, шлепнул под зад. – Беги на радость будущему, за которое мы воевать идем!

– Трогай! Трогай! – суеился вокруг подвод председатель колхоза Чертопахин, не в пример Пимену Авдеевичу, мужичек справный и здоровый, круглый как арбуз. – Михаил! Шапкин! Берись за вожжи, язви тебя в махорку.

На первой подводе восседал заносчиво и важно Савка. Дядя Матвей вскочил к нему на доску, гикнул, и вороные кони дружно рванули. Загрохотало, поднимая пыль, пулеметными очередями.

Плакали бабы. И Полина Шапкина плакала. Но слезы ее на блеклом, в первый раз не накаршенном лице меня совершенно не трогали. А Марина не плакала. Стояла как сыч, обняв бабушку Савчиху за толстую талию.

На огорода больше она не приходила, как не приходила туда и ее мать, получившая повышение в конторе. Мы снова сдружились с Толькой, и он снова командовал мною, таскал, куда взбретет в голову. Но все на огороде мне перестало вдруг нравиться. да и сама жизнь эта огородная сильно разнилась с той, которая была на ферме совхоза, где чувствовался строгий порядок, исходивший от самого управляющего. Люди там были всегда одни и те же, знающие свое дело и не ждущие понуканий. В огородной бригаде колхоза, называемого непонятным словом «Коминтерн», процветала полуразгульная вольница, праздность. Каждый день сюда присылали новых людей, ежедневно появлялись десятки каких-то незнакомых людей, бесстыдно загружающих овощами свои вместительные таратайки. Всюду не умолкали болтливость, плоские шуточки, притворные повизгивания девчат и бабенок. Было в общем-

то даже весело, но работа не шла быстрее, а кусты тех же помидор, словно устав ждать помощи, все торопливее отряхивались от недозрелых плодов, и под кустами, в желтой огуречной ботве, прело, гнило.

– Что, жалко? – спрашивала, замечая меня, ковыряющегося в этой гнили, бригадирша Федосья Лузгина, женщина худая и жилистая, всегда с закатанными по локти грязными руками.

– Добро всегда жалко, – говорил я хмуро словами бабушки.

– Да-а-а! – мрачнела еще заметнее бригадирша. – Не будь войны, да людишек опять довоенных, была бы у нас нонче чистоганная прибыль.

– Война-а, – говорил я все теми же сердитыми словами бабушки, – а девки хохочут захлеб.

– Пусть похочут, Паша, насколько доведется, – вздыхала Федосья, касаясь моей головы грязной рукой. – Жирок молодой берет свое, знать бы, чем после заживут. Не слезами ли горькими, сиротскими? – И тут же нашептывала: – Ты ушами шибко не хлопай. Собрал потихонечку сумку и речкой, речкой, незаметно к бабушке. Они – помидоры-то, – молочной спелости в соление самые подходящие. Чертопахину не попадайся, ну и всяким уполномоченным – за бабкой твоей у них особый догляд.

Я ничего не брал, делал, как баба велела: на поле ел, что нравилось, а чтобы в карман да домой – и в мыслях не было.

7 Кони вороные

Вороные кони дяди Матвея, доставшиеся Савке, были, действительно, лучшей тягловой парой в деревне. Дикие, своенравные, Чуваловские! Я долго боялся к ним подходить. По огороду ли, не смотря на ямы и колдобины, по плотине или пыльным проселкам – только стремительной рысью, только задрав головы. Все шарахались о них, рассерженно ругая Савку и всех Чуваловых-верхоглядов. Но в обед однажды, пока бабушка кормила Савку наваристым капустным борщом, а лошади склонились у корыта с овсом – корма для них Савка никогда не жалел, добывая правдами и неправдами на току, оказывая услуги заведующему током, и сделав специальный ящик на передке, – я подошел к ним, невольно сжимаясь от страха, потрогал спутанные гривы, и вдруг прижался сразу к обеим их мордам.

Неожиданно вороные перестали жевать, замерли тихо, покорно. Я почувствовал эту их доброжелательную покорность, что-то вроде бы близкое, родное, готовое к послушанию, и сердцу мое радостно затрепетало.

– Лошадки, лошадки! Хорошие вы мои! – говорил я со всей своей детской нежностью, и гладил, гладил атласные конские морды. – Хорошие вы, никто вас никогда не перегонит, и я вас люблю.

– Ты гляди, ба! – смеялся у калитки Савка, – Ты гляди на него, не побоялся. Я в район сейчас, помидоры повезем в заготконтору, может, возьму.

Огорчив сильно, бабушка меня не пустила, расстроился и Савка, но вечером он вернулся еще более расстроенный и мрачный, ел не охотно.

– Ты че туча тучей? Али не ладно што? – допытывалась бабушка, и Савка скоро сдался на ее допрос, ответил, что случилось – коней Чертопахин отобрал.

– Да за что же? – всплеснула руками бабушка.

– Не по рангу, мол, честь, молод еще, – дуясь, сказал Савка.

– Дан это как не по рангу! Не сам, тебе их Матвейка Чувалов, дядя родной передал.

А кому же по рангу?

– Нашлись. На такую пару да не нашлось бы желающих!

– Не угодил, не угодил председателю, своенравный мужик, – вздыхала бабушка и бросала косые сердитые взгляды на маму. Мама краснела и не менее сердито отворачивалась.

– Дак на замену-то что? Какую работу далее исполнять? – допытывалась бабушка.

– Быков мне комолых на замену, – едва не плакал Савка, не представлявший свою жизнь без коней. – Еще и смеется, гадина: «Это чтоб мать у тебя шибко не фордыбачилась. Так ей и передай».

– Га-а-ад! Это уж распоследний! – гневалась во всю старушечью силу бабушка. – Ишь, кудысь удочки забрасывает, Нюрка! Подкатывал, что ль? На фронт – он больной-пребольной, в чем душа только держится, а по солдаткам шнырять. Ишь!.. Ить не хотела я твоего переезда, ить упреждала, Нюра. Оно и раньше меж Чертопахиным и Ванькой миру не было, а тут... Небось и не схочешь да вспомнишь теперь заполошных Чуваловых, оне бы ему, хлюсту собачьему, враз прибавили бы ума. Начнется теперь охота, уж знамы его повадки.

– Пусть только попробует! – знакомо неуступчиво набычился Савка. – Вот пусть еще, я ему покажу.

Промокший, промерзший до костей – мы с Толькой в камышах, в лодке его деда, пытались потрусить чью-то сеть, досыта нахлебавшись воды, – я сидел на печи. Здесь же лежал великолепный пятиколенник дяди Михаила. Пожалев Савку, а еще более, оказавшись на печи и терзаясь изгнанием из их застольного общества, я разом расщедрился:

– А хочешь, я бичик тебе отдам дядь Миши Шапкина? Хочешь, Савка?

– Лежи там не высовывайся, пока с тебя спрос не учинили, – прикрикнула на меня мама, но я уже был на полу, уже невинно совал бич Савке.

– Обозы с хлебом начнут в город гонять, так спомнят, как раз понадобится, – вздохнула бабушка, шебарша заслонкой, и оказалась права. Через несколько дней Савка примчался на всех парах, объявив, что занаряжен в обоз, его надо собрать в далекую дорогу сроком на неделю, не меньше, и пусть мамка займется, отложив другие дела. Ему надо было куда-то срочно сбегать и с кем-то попрощаться, потом вымыться, хотя бы в корыте, чтобы не быть чернее степного кыргызца. А главное – не проспать и встать как можно раньше, потому предстоит выбрать коней...

Утром, ни свет, ни заря, растолкав меня бесцеремонно, Савка жаркодохнул:

– Пойдешь меня провожать... Мамке и бабе расскажешь потом, каких я выбрал коней.

Было холодно, светало медленно, я едва соображал, шел наобум, наступая Савке на пятки. Он ухватил меня за руку и повел как слепого. Должно быть, в последний раз перед рассветом в камышовой глуши ухнула выпь, заставив вздрогнуть, и сон окончательно улетучился. На мелководье озера крякнул селезень, и отозвались дружным хором несколько уток, устроивших целую перекличку. Савка запустил комом земли в прибрежные камыши, выходящие за нашей избой почти к самой дороге, и утки с шумом взлетели, прошлись низко над камышами, едва не задевая верхушки тяжелыми телами. Там, куда улетели утки, и куда я часто оглядывался, словно бы чем-то встревоженный, за косогором и ветряной мельницей все накалялось и багровело. Ширилось в полнеба занимающимся пожаром, и вдруг ударило алым половодьем, накрывшем и нас, и камыши, и ухабистый пыльный проселок с глубокой двухколесной колеей. Красное и кипящее заполняло все пространство, упоенно торжествовало, буйствовало кроваво, словно примчалось из тех огненных краев, где война и где умирают беззаветно и храбро наши отцы. Савка сердился, что я оглядываюсь, сбивая его с быстрого шага, дергал меня, пытался пристроить к своему быстрому шагу. Вдруг неуволимо как-то – по вине нетерпеливого Савки я прозевал это мгновение, – высунулось солнышко и будто оплавило бугор в заречье. Заречный бугор с ветряком оседал, медленно проваливался, а малиновая лава, обгоняя нас, накрыла уже деревню. Сверкало в окнах, искрилось в метелках серебристых ковылей. Ветряк будто привстал над косогором, будто оторвалась от своего каменного ложа. Черный, с крепкими венцами основы... Похожий на черный пылающий крест в зареве не по-осеннему чистого, тихого рассвета. Савка тоже вдруг притих, перестал поддериживать меня, и шли мы, шли, торжественно молчаливо. А лава, накрывшая нас и деревню, и озеро с камышами, становилась все горячее. Белые туманы, похожие на клубы густого, ленивого пара, проступили четче, отдельными нагромождениями, похожими на вздутые пушистые облака, взрозовели и враз зашевелились взлохмаченные маковки камышей. Крупная рябь прошелестела по сонной воде, зашевелившейся у близкого берега. Среди речных отмирающих трав билась в сетке или мордушке крупная рыба. Бойкая сорока косила глазом с ветлы, качала черно-сизым хвостом, чистила клюв. Озеро горело синим огнищем, набегая на берег, плавилось и, кажется, улетучивалась белым туманом, устремившимся в небо подробно печным дымам. Надрывно скрипнув, качнула и неохотно завертела своими огромными лопасти ветряная мельница. Крылья ее были тоже раскаленно красными, просвечивались малиновой яростью всходящего солнца и нового дня, опасного для меня и тревожного.

Савка, конечно же, мучился своим ожиданием, наверняка, плохо спал. Ему хотелось поговорить о предстоящей поездке с хлебным обозом в настоящий большой город Славгород. А это же – знать надо: Славгород – настоящий вертеп разбойников и хулиганов, всяких блатных, распевających «Гоп со смыком». Пригоняли таких на уборку, насмотрели на их кандибоберы. Да в придачу – идти придется через новые немецкие поселения, с которыми у мужиков не было мира. И мы все, от мала до велика, включая беззубых старух, безого-

ворочно понимали, почему этого мира нет, не понимая одного: с какой такой целью этих всяких Саратовских и Донбасских немцев выслали к нам, а не на какую-нибудь Колыму, куда и надо таких ссылать. Поговорить о лошадях, которых ему пообещал подобрать сам конюх, Илюшка Стрижок, друживший когда-то с нашим отцом. Единственный из оставшихся на колхозном дворе мужиков непонятного возраста, невзрачный и неухоженный, кто встал на сторону Савки, когда у него отобрали коней дядь Матвея. Но кто же его такого послушается, когда жена не очень-то слушается, гуляет от него напропалую едва ли не с каждым встречным. А он, как не гоняет, ее босую и в одном исподнем, по всей деревне, справиться не может, вызывая насмешки. Мамка рассказывала об этом опосля, умиленно вытирая увлажнившиеся глаза и приговаривая:

– Вот же есть люди на свете: никою не боятся ни Бога, ни черта, ни самого Чертопахина.

Про Боженьку она сказала зря, задела бабушкины чувства, тут же возразившую ей, что Бог – всегда Бог и высший судия и не надо валить на него все подряд, да безбожнику не втолкуешь, пока жареный петух не клюнем в одно место. Но не сказала – в какое. А мне очень захотелось узнать, что это за место такое, которое важнее головы, куда и надо что-то вколачивать непонимающему других, и я потом спрашивал Савку, вызвав у него громкий смех, просле чего Савка дурашливо закричал:

– Ты это, баба! Ты когда говоришь про свое, говори до конца, а то Пашке не все понятно... Как с твоим жареным петухом. Че не сказала, куда он клюет непослушника?

Но вот и впереди все неузнаваемо переменялось. Озарилась наконец пустая еще деревенская площадь, точно выступила разом из темных объятий ночи. Мокрилась мелкая зелень-шпарыш и густая, плотная, точно ковер, покрывавшая обочину дороги. В окне бревенчатой школы под красной железной крышей захрипел репродуктор, отчетливо выговаривая одно слово из десяти, выплескивая в сбежавшуюся толпу с вилами, лопатами, кнутами резкие, суровые слова об упорных боях на неведомых мне землях и далеких морях. Мужики, которых еще не подмела эта ненасытная, бойня, подростки, подстать нашему Савке, хмуро переминались, словно их пронизывало злым февральским ветром, охали и вздыхали бабы и девки. Горбатая бабка Свиридиha, размахивая палкой у амбаров, где запрягали лошадей, заламывали в ярма упрямых быков, кричала страшно и дико:

– Ненасытна! Чума пришла ненасытна! Страшней, чем в двадцатом годе! Помните? Помните, али обеспамятовали вконец? Дак Боженька вам напoмнит. Нехристи! Пьет кровушку деток моих Молох неведомый, косточки лишь чисты выплевывают! Сатана! Палом – как мор! Не дайте! Сколь же? Когда он подавится мужицкими косточками?

В безумстве своем незряча бабка, глуха. Ни ласковых рук оглаживающих не слышит, ни теплых бабьих увещаний. Ноги ее кривые в толстых и пестрых шерстяных носках, в растоптанных обутках, перехваченных крест накрест ссучёнными веревочками, сильно дрожат. Зипун до пят нараспашку. Волосы седые спутаны и скатаны, как потник. Беспокойны, нервно возбуждены и руки: дряблые, длинные, синие. Палочка – невелика помощь; качает бабку. Лицо усохло, глазницы – два глухих колодца, из которых давно не черпают. В гражданскую погинули у нее муж и единственный сын: муж был на стороне белых, сын – сражался за новую жизнь в красных рядах, что бабке от этого, где ее праздник жизни? Проводила теперь двух внуков, и, получив уже на одного похоронку, совсем свихнулась. Всем ее жалко и мне тоже. Даже жалче, чем все понимающую, строгую Колосиху на ферме.

– Пошли, посмотрим, каких лошадей дают. Вон бригадир подзывает, – врывается в меня голос брата.

Дрожала припадочно зубато голодная молотилка, вокруг которой суетился упревший до красна машинист Яшка Глетчик. Мякина сыпалась из всех люков и дыр, остья летели. По ветру, по ветру, на белые платки, взмокшие бабы спины, на грязные ребячьи загривки.

Желтым измочаленным язычищем в равзъявленной, трясущейся пасти пучилась солома. Ее рвали вилами, швыряли за себя, через головы.

Фенька и Сонька Страховы – младшие сестры замужней Полины Шапкиной, подставляли мешки под хлебный ручеек, захлестывая завязками горло наполненных. Тяжелые чувалы взлетали на столь же дружных руках, среди которых особенно выделялись могучие руки молодухи-разведенки Зойки Дымовой, как в общей толпе выделялась и сама крепко сбитая Зойка, ложились тесненько на подводы. Скрипели колеса, брякали барки, звякали занозы в ярмах. Повизгивание, сдержанный девичий смех, надсадное кряхтение.

Горы снопов на колхозном дворе, а их везут, везут. Чертопахин в легонькой бекешечке, кожанной фуражке блестит и сияет среди общей кутерьмы и ахов.

– Миленькие, не посрамите! Раззудись плечо, дорогие вы мои, первый обозик уходит на элеватор! – Сунув мягкую ручку под струю зерна, вылетающего из молотилки, хватается сам за узел чувала. – Соня, слабо тут, перевяжи покрепче.

– Зараза какая, – ворчит вполголоса Савка, – сам взял бы и перевязал. Так нет... – И дергает меня за руку: – Пошли.

Но выбирать ничего не надо, все за него уже решено, подозревая, бригадир указывает рукой на загружаемую подводу, велит поторапливаться. Савка недоволен, кони – обычные доходяги, – но делать нечего, телегу надо подавать под погрузку, и Савка лезет на передок, подбирает вожжи.

– Посторонись, Калистрат Омеляныч! – дергая за вожжи, ревет Савка нарочито горласто, явно направляя лошадей на председателя. Чертопахин уворачивается, грозит кулаком озорничавшему возчику, Савка ставит бричку под погрузку, соскакивая с нее как ни в чем не бывало, подставляя загорбок, лезет сам под мешки. – Наваливай, девки, председатель велит поторапливаться. А нам еще через немецкие поселки прорываться.

– Так не забросить, Савка! – сомневаются молоденькие подсобницы. – С твоим ростом... Давай уж на пару с председателем.

– Можно и с председателем, – гнет недовольно шею Савка и хватается за угол мешка, – Берись, что ли, Калистрат Омеляныч!

– Ну давай, ну давай! – Чертопахин ухватился за другой, удачно вскинули, развернули в воздухе, опустили поперек телеги.

– Еще один, Калистрат Омеляныч? – невинно шмыгает носом Савка, но в глазах насмешка, и набрякший кровью Чертопахин ее замечает.

– Ну давай... А погодь! – схватился за куль в одиночку, присел, поднатужился и охнул, не сумев подняться.

– А я? Подвинься чуток! – Савка небрежно спихнул его плечом в сторону, напрягся несколько артистично, играя на девок, и мешок оказался на телеге. Лег как положено в общий ряд.

– Чуваленок! Чуваленок! Это сколь же годков ему, молодайки? Ить жених, язвы в кальсоны! Уж прижмет как деваху... – смеются у молотилки.

– Крепок, обормот... Есть закваска, – отдышался наконец Чертопахин; снова повысил голос: – Раззудись плечо, мил-лые... женатые и замужние! Раззудись! Врежем по немчуре-врагу нашим высоким сталинским урожаем!

Забегал опять по току, засуетился непонятно кого и зачем подгоняя и вздрючивая. Расшумелся привычно и скоро взмок, под стать бабам у молотилки, посинел, запыхался.

* * *

Подвод много; грузятся, грузятся. У молотилки, у амбара, под навесами. Солнце разогрелось, не то-осеннему щедро ласкает землю, людей. Пот заливает лица, густо покрытые

половой-мякиной. Водовоз Леня Голиков, дурачок, верхом на бочке погоняет старого, едва шевелящегося однорогого быка, по прозвищу Геббельс..Хлынули к Лене.

– Ой, Леня-женишок приехал! Ой, вовремя как, девки-ребятки! – Манька Сисенкова, вдова забубенная, вскочила на запятки телеги, на два бревешка с установленной на них бочкой: потная, размякшая, с раздернутой кофтенкой на вздувшейся груди. – Подчерпни, Ленечка, черпачок попопней – ох, пересохло прям все во всем теле.

– Мне больше всего, Маня? – беззлобно хохочут бабы.

– Скорее, Леня, – спрашивает бабенка, не обращая внимание на подначивания подружек, – горю прямо вся, хоть в омут, хоть в бочку ныряй.

– Гы-гы! Гы-гы! – лыбится мордастый дурень; зубы желтые, крепкие, кулачищи – кувалды в полпуда каждый.

– Умираю, Леня-дружок! Давай поскорее!

– Гы-гы, гы-гы! – заглядывается Леня на Манькину голую грудь.

– Манька, титьки спрячь, не води придурка в соблаз, а то с силищений его, разложит прям здесь на бочке, – незлобно советуют Маньке.

– А пусть, я, может, согласная. Вот погодите, скоро останемся без стоящих мужиков и Леня сгодится.

– Леня, не теряйся баба в соку, обними, чтобы косточки у нее затрещали, – подзадоривают придурка.

Леня, при всей ущербности разума, кое-что все же кумекает, охотно делает вид, что тянется к Маньке и хочет ее схватить.

– У—у—у, придурок, пустое ухо! – Манька бесстрашна, отмахнулась под общий хохот, сдернула квадратную крышку, нырнула в бочонок за черпаком, задрала бестыже ногу.

– Утопнет ведь, Леня! Тяни бабу из бочки! Утопнет, а виноват будешь ты!

Парни облепили водовозку, подтолкнули Маньку под руку, рухнувшую всем своей тяжестью глубже и застрявшую грудями в квадратной дыре: бочка – ходуном, парни – врассыпную.

– Бочку не опрокиньте, кобели окайнные! – шумят молотильщицы, откровенно завидуя и Манькиному здоровью и ее бесстыжим вольностям.

– Гы-гы! – скалится Леня-придурок, отворачивая с запозданием одкорогого и безхвостого быка от близкого пшеничного вороха; бык упрям, почувствовав желанный корм, прет к зерну, подворачивая передок брички так, что грозит поставить ее вверх тормашками.

– Стой! Стой, куда прешь? – орет заполошно Калистрат Омелянович и лупит, лупит быка по слюнявой морде. – Пейте из лагушек – лагушки поставлены у каждого бурта. Че в бочку лезете с головой и ногами?

– Так вкуснее, из-под Манькиного подола.

– Поберегись, Калистрат Омелянович, ушибем, ненароком.

– Вот кобылы! Вот жеребцы! Лишь бы побзыкать.

Странная жизнь, меняющаяся на глазах, заряжающая своей лихостью; и во мне, в моей глотке, будто все закипает и пересыхает в единый миг – столь желанной и сладкой кажется привозная водица, – хочется тоже прильнуть к черпаку. Слышу бойкий говор насчет последнего, должно быть, в нынешнем году, желанного солнышка, слышу людскую неистаивающую удаль. Хорошо с людьми: один накричит ни за что, другой пожалеет. Всяк на виду, что бы ни делал. А солнышко – и вовсе особая радость. Вон как душа у всех встрепенулась и ожила напоследок: ведь не завтра-послезавтра снег выпадет. Каждая утренняя разрядка с него начинается, мол, зима не станет дождать управились мы или нет, братцы-колхозники. В колхозе иначе живут, чем на ферме, здесь сверху один председатель, а на ферме, кроме управляющего есть еще и директор на главной усадьбе и это все знают, в случае чего. Но как лучше, мне непонятно, хотя управляющий Пимен Авдеевич Углыбов нравится больше, чем

Чертопахин, который как сыч, ко всему будто принюхивается, всюду ищет подвох, никому не доверяет словно боится каждого, а Пимен Авдеевич точно в полете, как... птица коленкоровая. На ферме так сказала однажды о нем тетка Лукерья – «птица коленкоровая»...

От соломы поднимается терпкий, бодрящий дух. И от спелого, крепкого на зуб зерна, которое я жую и жую неустанно – сил набираюсь на зиму по совету Тольки Селезнева. Твердые зернышки, как литая дробь-пулевка. В воздухе полова и мякина летают, лезут щекотно в нос. Фенька чихнула, выпустила горло наполненного мешка. Мешок накренился. Потек через рубец верхнего края желтый пшеничный ручей. Феня взмахнула бестолково руками, сморщилась, зажмурилась и снова чихнула:

– Оглоблю в нос, Фенька!

– Ой, девчата, прямо напасть! Ой...

– Я те вот! Я те почихаюсь тут, мякина утрамбованная! – Сонька приложила кулаком к спине сестры, потом еще бухнула со всей силы.

– Ой! Ой! – морщится Феня, словно не чувствуя колотушек. – Ой, погоди, Сонька! Отцепись, язва полосатая!

– Мешок повалился – язва! Мешок придерживай, зашла она до коликов!

– Пчхи! Мамочки мои, пчхи-и! – чихает Фенька.

– Будь здорова, Феня, женишка те в новом году, – перехватил у нее мешок Чертопахин, улыбается масленно, как кот.

– Чхи... Калистрат Омеляныч! Чхи-и, окаянная напасть... Да ну вас всех, Сонька вон...

– У Сони есть женишок, Соня дело знает... Вы это, девахи, птички-трясогузки, вы успевайте детишками завестись, пока война не подмела всех парнишек. Кто брюхатить вас будет потом?

– Да ну вас, Калистрат Омелянович! Как не стыдно такое...

– А какое такое? Жисть свое требует! Засвербит под подолом – к Ленке Голикову кинетесь... Вон-а, бывало, в Гражданскую! Тогда убыли такой в мужиках не случилось, все ж оставились еще brave молодцы.

Чмокнуло вязко, шыркнуло с подсвистом, и шлепки, шлепки, скрежет. Бешено вращался оголившийся шкив, местами обмазанный варом. Широкий серый ремень привода изогнулся огромной змеей, встал на дыбы, ударился хлестко в доски ограждения, сколоченные накрест. Молотилка скрипнула надсадно решетками, сглотнула новый зёв и грохот, придавила ток тишиной. Длинноногий и худобедрый машинист Яшка Глетчик в длинном, как балахон, комбинезоне, делавшим его еще более высоким и худым, всунул рыжую от половы голову меж оградительных досок. Полез, зацепился штаниной, пал на корячки.

– Ушил бы казенные штаны, Яша, широковаты, небось, – подтрунивает над ним остроязыкая Сонька.

– Ково ушивать, придумала тоже! В таких-то и на мужика сзади все же похож, а то дылда дылдой! – находятся желающие продолжить бесплатное развлечение.

Вскочил, отряхнулся Яша, щуптлый, болезненный мужичок, с маленьким подергивающимся личиком, а на него из верхнего люка все сыплется и сыплется серая труха.

– Стой, обоз, вроде, готов, ко времени речь сказать, – оглядывается по сторонам Чертопахин и, найдя сторожа Затыку, приказывает: – Бухни в лемех, Георгиевский кавалер.

Дед рад постараться – подобные поручения ему не в новинку. Вытянулся во фронт с вилами на возу соломы, пал тут же на край задка, скатился, будто циркач, чудом не зацепившись за концы поднятых дробин, удерживающихся крючьями, побежал на раскорячку, словно с килей. У сторожки на выезде с тока, рядом с весовой, спохватился, что бежит с вилами, отшвырнул их от себя, сдернул со штыря, рядом с плужным лемехом длинную железяку. Размахнулся, ударил со всего плеча, и поплыл упруго-малиновый звон каленого

лемеха над березами-кленами-тополями, над деревянным амбаром на столбиках, с навесом и башенками, сооруженным еще до революции. Над селом, к ветряку на бугре, над степью низинного заречья поплыло к синей кромке далекого бора ввинчивающееся в мозги и требовательное: гум-м, гум-м, гум-м!

Калистрат Омелянович на бричку с мешками поднялся. Окинув рассопатившуюся, разгоряченную дружной работой толпу, шевельнул черными бровями.

В толпе была мама, с узелком в руках, перекрывшая мне дорогу:

– Куда, Паша? Затопчут в кутерьме!

– К Савке, мам, он счас уедет!

– Как уедет, так и приедет, стоя рядом!

Савка наверху, ерзает на мешках на телеге, меня будто не видит. Бригадир Половинкин подошел, приметил мешок узлом наружу, крикнул, поднатужился, перевернул его узлом во внутрь:

– Так надежнее: и развяжется, так высыпится во внутрь.

– На-ко, Савелий, баба-Настя шанег в дорогу напекла, – мамка протягивает беленький узелок Савке

– Делать нечего – бежала она из-за шанег! – покосившись на бригадира, бурчит Савка.

– Не из-за тебя, че бы это из-за тебя? – хитрит неловко мама, – Лемех услышали и побежали всей фермой.

Правда, доярки в толпе.] Бухгалтерия в полном составе. Полина Шапкина сверкает крашенными губами. На сзывающие звуки лемеха, народ стекается со всех сторон. А Чертопахин все рубит рукою воздух, все говорит, говорит, аж покраснел от натуги. Савка встал коленом на мешке, рот раззявил смешно. Яшка Глетчик, так и не осилив ремень, так и не натянув его в одиночку на шкив молотилки, навалился на доски ограждения машины. Слушают или не слушают председателя, не поймешь, но что в этих его словах? Пустые они, без тепла и сочувствия, как те же удары железной колотушки о лемех – только гуд в ушах... А воробьи знай, скачут, дерутся, как голоштанная мелюзга, и я уже вострую глаз в их сторону. Вокруг дружно ударили в ладоши. Мама рядом захлопала, и улыбается полными от слез глазами.

– Трогай, Максим Терентиевич, – скомандовал Калистрат Омелянович, соскочив легко и важно с подводы.

Савка ждал этой команды, так и продолжая стоять коленою на мешке, чмокнул пересохшими от волнения губами, подхлестнул вслед за всеми своих лошадей – рыжих каких-то, костлявых. Сопровождаемый толпой, обоз тронулся, покатился по селу, вдоль речки.

Подслеповатые старухи на плетнях и в подворотнях: крестятся перепуганно:

– Началось, Господи мой, теперь до зернышка выметут.

– Ноне война, грех счеты вести.

– А раньше было иначе? На трудодни выдавали отходами...

Вздывает пыль наша босоногая орава.

Только – как из-под земли:

– Айда к ветряку наперегонки! Знаешь, как будет на переезде через речку!

Обозу нет конца, а голова уже на буграх у протоки. Из камышей со стороны озера выплывает лодка. Стала на мелководье, рядом с переездом, в которую вошли первые лошади. Дед Треух, подслеповатый, осевший будто, навалился на длинный шест. В корме верша, чебачки с карасиками трепыхаются.

– Де-еда-аа! – визжит во всю Толька и прет по воде прямо к лодке.

Вскочил, раскачивает, зовет меня, но мне зябко при одном виде воды и страшновато сделать по-Толькиному.

Щелкают бичи на переправе, перебирают часто ногами лошади, тащится на бугор за колесами мокрый след.

На бригадире Постникове высокие, чудные сапоги с двойными отворотами. Резиновые. Ходит он в них без всякого по воде вдоль глыбы: левее, левее, мужики; держи левее!

Дна глинистого, испаханного колесами, почти не видно – муть сплошная. Савкина очередь пришла; Савка подернул своих рыжих, щелкнул моим пятиколенным.

– Тихо, Савелий, не спеши, чтоб не захлестнуло. Тише едешь, дальше будешь

Но лошади прижали уши, раздвинули ноздри, рванули как ошпаренные из глыбного места, разом вынесли на угор груженную бричку.

Высоко из окна выглядывает мельник, белый весь и безликий будто, хохочет, зовет к себе обозников.

Ах ты, радость моя, сколь народу и сколь празднично! Душе места нет и нет покоя. Лезу по воде к Тольке. Мокрый по самый пупок, с помощью слезливого деда, забираюсь в лодку.

– Вот чокнутый, ты гля! Гля, Савка, что выторяет, ухарь чубатый! – кричит встревоженно Толька

Даньке Сапрыкину, рукастому подростку Савкиных лет, надоело ждать очереди. Привстал, гикнул, замахал вожжами. Лошади у Даньки справные, выездженные отцом, рвут построжки. Половинкин шлепает к берегу, грозит кулаком. А Данька в азарте, только брызги во все стороны,

– Куда, сучье вымя! Куда тебя понесло, сукин ты сын! Яма! Яма там, Данька! Намочишь ведь все зерно, растудит твою в крестовину!

Не слышит его Даньке – шум от воды, колес, копыт, общий гам, слепой собственный азарт. И переправы толком не знает. Лошади оказались на глубине, ухнула следом телега, взвыл Данька, оплеснувшись холодной водой и страхом. У лошадей видны одни гривастые головы. Дед Треух веселком отгребается, Толька на заднюю сидущку лодки вскочил, тоже выпученно кричит на Даньку. Данька бросил вожжи, карабкается повыше на мешки, на сухое...

– Ах, в растакого его, недоделанное чучело! – ругается беспомощно Половинки, и сам уж по пояс в воде, разгребаёт ее руками, лезет к бричке.

С обеих берегов бегут, плывут, огребаются. Навалились на телегу, на лошадей, сдвинули маленько в запале. Под общий нечеловеческий рев, лошади уперлись покрепче в дно, рваяули на пределе сил и отчаяния. Данька не удержался, слетел кубарем с мешков, плюхнулся под ноги Половинкину. Поспешно вскочил, сплевывая воду, рванулся убежать, да маслястая лапища бригадира накрыла его голову, пригнула снова к воде, окунула раз и другой.

Лошади с бричкой и грузом уж на бугре. Набежавшие возчики повисли на недоуздках, на водиле, прервали их бешенный слепой бег.

Кинувшись на помощь бригадиру, мужики выволокли на песок визжащего Даньку.

– Да што с ним такое, Максим Терентьевич? Да нормальный же был парень?

– Форс ударил в башку – девчата вон, смотрят.

– Вот же стервец, убить мало, Терентьич!

– Шкуру с живого содрать не жалко!

– Деда, деда, выгреби нас на берег, – просит визгливо Толька, готовый снова вскочить в воду, побежать в эту бучу.

Данька привстал и выпрямился. С него течет на песок. Половинкин качнулся вдруг на запятках сапог, безжалостно, со знанием дела, мазнул Даньку по скуле, сам опустился на мокрый песок.

– Уу-у! – несло по реке не то Данькино, не то бригадирово.

– Ить – бричка, не мешок, – потупясь неловко и не осуждая бригадира, бурчали мужики.

– Так вот же! Не только по харе, тут в каталажку загреметь – раз плюнуть, как за вредительство...

* * *

Отсчитывали свое и чужое время скрипучие крылья ветряка. Шумели ракиты. Ветер взвихрючивал вдоль косогора мелкий песочек. Ткнувши в задок своей распотрошенной брички, плакал Данька, подергивая выступившими остро лопатками.

А обоз уползал длинной змеей в захладавшую, сумрачно-волглую степь, в солончаки, и скрылся скоро в безлесой низине...

8 У зева зимней печи

Зима в тот год подкралась для меня незаметно. До последнего часа, вроде бы, стояло тепло, было ведрено, а потом задуло, занепогодило, и в одну ночь земля оказалась под снегом, окна вмиг затянуло мелкой узорчатой изморозью. Ссылаясь на свои приметы, бабушка все утро охала, что мало заготовлено топлива, предсказывала очень холодную, суровую зиму, и когда за Савкой примчался конторский посыльный, вздохнула тяжело:

– Последнюю надежду подчистить у нас собрались. На лесозаготовки парнишку загонют. Ох, тяже труд, не приведи, Господи, как же мы сами-то с топкой не успели!

Она снова оказалась права, на лесозаготовки Савку отправили в тот же день, пока окончательно не завалило дороги, мама убегала на ферму ранее раннего, гулять мне было не в чем, и я оставался целыми сутками с бабушкой. Правда, изредка забегал Толька, хвалился, что выучился читать и, доставая из полотнянной сумки потрепанную киижицу, тыкал грязным пальцем в крупные буквы: – «Это „Ды“ называется. Какое слово с Ды начинается? Дыня. Понял, балда?»

Но появлялся он редко, и всякий раз потом я долго сидел в тоскливом одиночестве, оглушенный столь сложной мудростью, уже освоенной заполошным Толька и которую осилить мне едва ли когда-нибудь удастся. Снег падал и падал, иногда по несколько дней подряд. За маленьким квадратным оконцем нашей плоскокрышей пластаной избушки его скапливалось все больше, и скоро сугроб закрыл от моего любопытного глаза близкую дорогу, извещавшую меня время от времени, что жизнь где-то все-таки продолжается. Мир на долгое время оказался отрезанным, переставшим напоминать о себе и тревожить.

Снег и только снег заполнил мою унылую жизнь. Он был всюду: и вокруг избушки, и во мне самом. На кривой, толстой матице и на горбатом потолке и выступающих на нем беленых бревешках, напоминающих ребрышки исхудавшего с начала зимы Савки. Савка мы видели редко, он лишь накоротке забегал домой в канун Нового года, сменил сопревшее бельишко и снова уехал. Провожая его, мама плакала, а бабушка ворчала как всегда, ругая непонятно кого.

Вообще с бабушкой все было непонятным. Кажется, она невзлюбила весь мир, оставшись в своем далеком и загадочном прошлом, на которое почему все ополчились, считая его исчадием зла, мешавшем людям нормально жить. Но тогда почесу ничего не меняется и люди живут по-прежнему плохо и бедно? Вспоминать о тех временах она не любила и отмахивалась, когда я пытался о чем-нибудь выспросить.

– Што бередить душу тем, чего для вас не было. Отреклись от Бога, вот и живите как выпало.

Подобно Мите, когда-то вводившего меня в мир непонятного, Савка недовольно бурчал:

– Я тоже хотел бы работать на самого себя, а не на Чертопахина и его правление, так разве дадут! А баба Настасья захватили то время, помнит и нынешняя свистопляска ей не по нраву...

Меня это вовсе не интересовало, никакой другой жизни я не видел и вполне удовлетворял свои запросы кружкой молока, вареной картошкой, куском черствого хлеба, каким-нибудь бесхитростным супчиком – главное, чтобы в животе по ночам не бурчало. Холода крепи. Печь бабушка топила экономно. Промерзнув насквозь, засеребрились инеем углы. Скрипуче, вязко открывалась и закрывалась камышовая дверь в сенцах, из которых было два выхода: один вел на улку, а другой – в пригон, к Зорьке и овечкам. На улку босиком надолго не разгонишься, но я все же выбегал, наделав следов у окна, садился потом у стола, делая дыханием прогалину в замерзшем стекле, часами рассматривал, что происходит с моими

следами. Радостно вспоминалось лето, илистый берег озера и эти же собственные следы с растопыренными пальцами, но не на белом и холодном снегу, а на теплом приятном песочке.

– Жисть всегда – ожидания; я деда твоего двадцать зим, ночка в ночку, так вот ждала у замерзших окошек... Ждала сокола, и не дождалась.

Я знал, что дед мой был белым казаком в каком-то небольшом чине, даже ребята иногда дразнили меня белячком, но подробности оставались странной загадкой, мама, бабушка, Савка избегали говорить на эту настрого запретную тему. Маму я так же почти не видел. Вставала она до свету и убегала на ферму, появляясь ближе к полуночи вытоптавшейся до полного изнеможения...

Кругом говорили: так надо, война, но тогда почему кругом все приходит в упадок и рушится?

– А лучшая жисть когда-нибудь будет, баба? А какая она, если лучшая?

– Сама уж не знаю, миленький, то ли есть она еще где-то, то ли уж еяовсе перевелась.

– Ты же жила вон-а как!

– Да жила ли, внучек? То ли жила в неизбывной надежде, то ли мучалась... Так хоть знала, ради чего.

Смеркалось рано, экономя керосин, лампу без мамы мы почти не зажигали, изнывая скукой, я нудно тянул:

– Расскажи, как вы с дедом в кошевке масленицу справляли.

– Да я сама уже позабыла, сплыло и мхом поросло. Нонесь кто сверху, тот и боярин, – привычно уходила от моих расспросов о прошлом бабушка, иногда позволяя себе какую-нибудь подробность, наподобии: – Так бы ниче с нонешней властью, Бог ей судья, если на собственный народишко ополчилась, как на врага. Меня шибко не тронули, кишки, как видишь, не выпустили, и я никого не задела, да нищенкой жить не приучена.

– А что у тебя раньше были свои кони? – захожу с другого конца, что-то и где-то наслушавшись по этому поводу.

– Были-ии, Паша. Воронко с кобылкой, да Рыжко-меринок на выезд.

– И кошевка?

– Было как же: и седло верховое, и легонький тарантасик, и кошевая. Зимой бывало... – Она обрывало себя, замолкая и превращаясь в безгласную статую, от которой ни крика, ни стоны уже не дожидаться.

Жить ожиданиями, как советовала бабушка, было не просто, но лучше, чем пучить бессмысленно глаза на окно. Я начинал что-нибудь придумывать не без ее помощи то со спичечными коробками, то с катушечками от ниток, которые она называла тюрючками, стригли коротенькие соломинки без узлов, надевали по несколько штук на нитку, связывали, получая изумительные сооружения. Ждать новой весны и тепла, если с утра занят работой, становилось легче, ведь никому не секрет, что зима не вечна и за нею непременно приходит тепля, длинная-предлинная летняя благодать... Такая же ласковая и приятная, какой была рядом со мной любвеобильная бабушка.

– Сиротиночка ты моя разнесчастная, – наговаривала она мне в минуты своей слабости тягуче-стонущим речитативом, должно быть, проваливаясь в свое гнетущие прошлое, безжалостное к ней, как теперь и ко мне, и гладила по голове. – Што за доля тебе выпадет, безотцовщине! Ни поругать будет некому как следует, с умом да строгостью, ни приласкать твердой мужской рукой. Но отец у тебя хороший, хороший, может, вернется, сильно не слушай, што буровим-сидим про нево. Не дружила я с ним, не такого хотела зятюшку себе, да бог по-своему рассудил... Ну ладно, полезай на печку, уж не буду растоплять, пока мама не вернется с фермы. Потом подтопим маленько и согреемся перед сном.

Мне было не только холодно, но и голодно, в животе постоянно урачало.

– Ба, а пышечки вчерашней тепленькой нисколько не осталось? – спрашиваю несмело, хорошо зная, что не осталось и не могло остаться. Что на трудодни мама и Савка получили всего ничего и приходится экономить каждую чашечку муки – нашу дневную норму.

– Может, и осталось, – неожиданно отвечает бабушка, разогревая во мне яркую надежду. – В шкапчике вот глянем сейчас,

Шкафчик висит на стене. В нем кое-какая посуда. Я соскакиваю с печи, помогаю бабушке, но ничего не находим, пусто. Зачем же обманывать?

– И вправду нет, – невинно удивляется бабушка. – Но помнится-быть, оставалось. Или мышка утащила в норушку? А? Может, мышенька серенькая прибежала среди ночи? Может, мышкныкины проделки? – лукаво щурятся ее добрые и усталые от жизни глаза. – Так и мышечке хочется есть, рази не так?

Неохотно, но соглашаюсь: хочется, конечно.

– Ну вот и давай не жадничать. Че же мы за людит с тобой такие, когда ни о чем, кроме своего живота и подумать не можем? И пускай, если даже мышка у нас что-нибудь стибрила, бессовестная. Что уж совсем мы с тобой бессердечные, што ли, правда?

– Правда, – говорю нерешительно и мне намного легче, и я уже радуюсь за мышку, которой сейчас совсем не голодно, и, оказывается, хорошо, думать, что хоть кому-то на этом свете сейчас не хочется есть,

– Хочешь, я сон свой последний расскажу? Хочешь?

– А что те приснилось? – разгораются у меня глаза. – Хорошее или страшное?

– Хорошее, хорошее, зачем же нам страшное? У нас и без этого полно всяких страхов, – балагурит она дружелюбно и ласково.

– Если хорошее, давай.

– На печку полезешь аль у окошечка сядем?

Под светом неполной луны, снег за окном синевато-блеклый и еще более холодный, чем днем и я предлагаю:

– На мамину кроватку давай залезем. Давай потеплее закутаемся в одеяло и разсяядемся. Тепло-оо будет.

– Давай на кровати разсядемся. Это ты правильно рассудил, че бы нам врозь-то в потемках. Только Зорьку, напоить пора. Вон-а какое ведрище помоев мы накопили с тобой за день,

Ноашупь, поддерживая друг дружку, несем Зорьке в пригон помои. Сквозь щель в дощатой дверце, через которую мама или бабушка выбрасывают на улку навоз, сочится лунный лучик. Дух в пригоне теплый и сытый. Пахнет прелой соломенной подстилкой, навозом, а главное, заворачивающе сладенько напахивает парным молоком. Зорька заворачивает голову от полупустой кормушки, встречает нас протяжным мычанием, тянется к ведру и бабушке, обнюхивает меня. Скошенный зрак ее влажный и тоже грустный.

Бабушка открывает боковое окошечко, впускает в пригон больше лунного свет, свежий воздух. Блеют проснувшиеся овечки, непрочь полакомиться тем, что предназначено ежевечерне Зорьке. Корова мотает лобастой головой, в центре которого белое пятно. Дотягиваясь, скребу мягко пальцами у нее за длинными ушами, под шеей, и Зорька еще ниже склоняет рогатую голову.

Сердце мое наполняется нежными чувствами к нашей кормилице, решаюсь на редкостный и отчаянный шаг:

– Ба-а, я на дорогу выскочу, может, сеновозы что натрясли вечером!

Не дожидаясь разрешения – бабушка выбрасывает навоз через отворенное окошко, – выбегаю во двор, заваленный снегом, перелажу сугроб, скорее, пока ноги не обесчувствовали и не одеревенели, несусь к раскатистой проезжей дороге.

Какая же всюду первозданная синевато-лунная белизна, прям, диво-дивное! Сплошное очарование и волшебство от края до края. Сугробы, наметы, голубоватые всхолмья из волшебного мира. Избы с густыми рвано пузатыми дымами. И у Шапкиных вьется из трубы, и у Селезневых, и у Савченкоковых. Топят, не жалея дров, аж искры летят! Я завидую Тольке и Марине: сидят себе в тепленьком!

Дорога присыпана инеем. Натрушено на раскатах зеленое сенцо. Не много, но маленькая охапочка все же наскребается. Руки-ноги уже онемели. Красные в самом начале, теперь они все блее, под стать снежку.

Прижав сенцо, несусь обратно, аж уши скручивает ветром. Вбегаю в сенцы, не чувствуя ног, врываюсь в пригон:

– Ага, Зорюшка миленькая! Ага, маленько, да набралось. На-ка, пожуйся, пожуйся, и мышка сыта и ты.

Не понимая меня, корова видит и чувствует сено, раздувая ноздри, мычит, дуреха, и, запуская морду в зеленый мой оберемок, душистый и шуршащий, раздвигая толстенные губы, захватывает сразу почти весь, утаскивает в бездонный рот.

Ноги приходят в чувство и отогреваются долго. Знобит, знобит, и как жиганет. Словно шилья кто-то вгоняет под ногти. И сразу в жар, заприплясываешь как на плите.

– Не реви, взащей не выгоняли, – сердится бабушка.

– Ага, не реви тебе, – сержусь и я, – железный, что ли?

– Так не носись.

– Я же скорее хотел, – оправдываюсь напропалую, очень желая, что меня похвалили.

Маму попрежнему я почти не вижу. Приходит в темноте, невероятно усталая и разбитая. Выглядит совсем потерянно, но говорить ни о чем не хочет, как бабушка ее не требушит разными вопросами. И со мной почти не разговаривает.

В один из январских буранов, так же ночью, она сбила с дороги, всю ночь проблудила на озере в камышах, только к утру выбравшись обратно у дома Селезневых. А кривоглазый подпасок Абрамка-татарин навовсе замерз в такой же буран, десяток шагов не дойдя до плотины у водяной мельницы. Так и сидел под свесом сугроба и кнут змеей вдоль тропинки. У Лупки Головни, женщины одинокой и пожилой, волки задрали последнюю овченчишку, а выбраться на волю из пригона уж не могли. Лупка вошла утром в пригон, а они сидят по углам, сверкают глазищами. Так она в сердцах и за мужиками не побежала, сама на вилы поодевала их поочередно, получив какую-то премию за каждую волчью шкуру. О ней в районной газете писали и лектор по этому случаю приезжал.

На печи, рядом с трубой, ветер всегда слышится особенно сильно. Шумит, завывает на разные голоса, скребется. А если уж вовсе пойдет в разгон, то становится похоже на вой голодной волчицы и я отползаю подальше в угол, зарываюсь во всякое третье, пахнущее мышами. Но мышей у нас нет, чем им здесь пожить?

Радости моей нет конца, когда бабушка готовится топить печь. Я непременно усаживаюсь напротив огромного печного зева и терпеливо наблюдаю за бабушкиными действиями. Нащепав длинным ножом лучины от сухого полешка, хранящегося в подпечье, она будто нырнет головой в черную печную утробу, укладывает щепу на жар, сохранившийся в загнетке, раздувает, и когда вылезает обратно, всегда серая вся от пепла, со слезящимися глазами. Зато огонек уже бежит по сушняку, взмахивает алыми крылышками, похожими на паруса, потрескивает весело, добавляя мне живой радости, начинает облизывать сырые, источающе влагу, березовые полешки. Пламя растет, перебирается на поленья, набирает гудящую мощь, длинными языками изгибается под сводом, высовываясь столь же огненно и длинноязыко в поисках дымохода едва не наружу. Огромная, гудящая, как паровоз, блямающая красными огнищами, печь нагревается долго, вбирая этот несусветный березовый жар каждым кирпичиком, но уж когда нагреется, когда раскалится, сама изба становится вдруг

просторнее, выше, всё в ней уж не пугает темными углами, где может прятаться черт знает кто. Бабушка тоже становится другой, подсаживается рядом, прищуривается, глядя в огонь, иногда тихонечно заведет не знакомые мне очень грустные песни, которые почему нигде и ни кто уже не поет...

* * *

...Топящаяся русская печь в полумраке избы – сама фантастика. Она и теперь нередко уносит меня в неведомое... когда тянет завести песнь, которую уже мало кто помнит

* * *

– А зачем так много людей кругом, баба?

– Чтобы жить веселее. Сколь рождается, столь и живет.

– А зачем они все рождаются? – не унимаюсь я, заглядывая в буйствующее под сводом огненное кубло, в котором можно увидеть все, что только захочется... Как на Луне, где один брат поднимает другого на вилах...

– Дак чтобы других людей нарожать, после себя что-то оставить. Чтобы землю было кому пахать, деревья садить. Мно-о-ого делов у живого, внучичек!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.